

Андрей Вознесенский

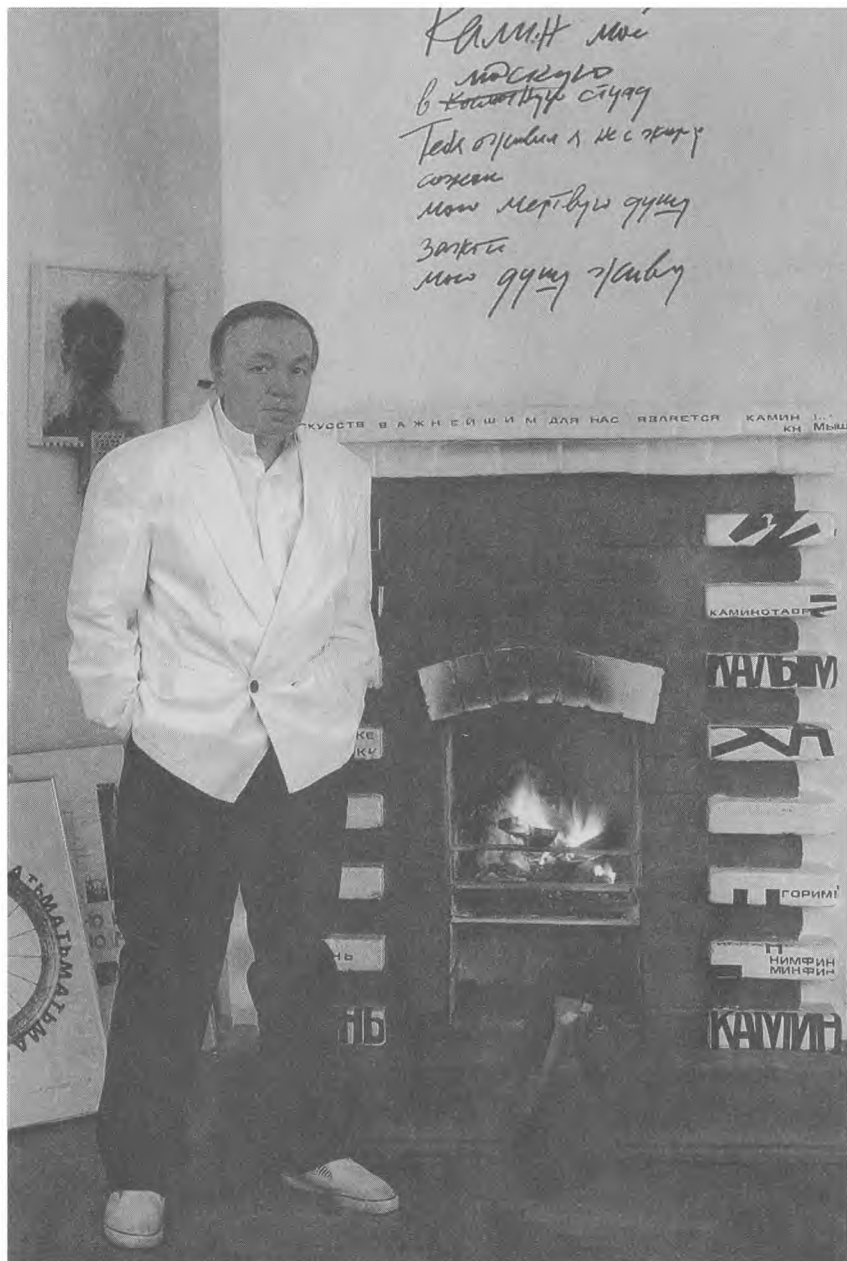
Ω

Андрей
Вознесенский



Кыргыз Республикасы.

Камин мне
подарил
в качестве знака
Тех, кто любит и не жалеет
своих
моя мертвая душа
Закрывает
моя душа явную



Собрание сочинений
в пяти томах

том третий

Андрей
Вознесенский

НАС ТРОЕ — БОГ, ТЫ И Я



ВАГРИУС
Москва 2001

УДК 882-14
ББК 84Р7
В 64

Федеральная программа книгоиздания России

Охраняется законом РФ об авторском праве

ISBN 5-264-00547-8
ISBN 5-264-00550-8 (Т.3)

© Издательство «ВАГРИУС», 2001
© А.Вознесенский, автор, 2001
© К.Заев, дизайн, 2001

Безотчетное

* * *

«С Богом» —
скажу прошлогодним разборкам.
«С Богом!» —
надеждам, вышедшим боком.

Будем втроем
в нашем быте убогом —
Ты, я и Бог —
В этом вздохе глубоком

Встретим молением
Третий милениум —
с Богом...

* * *

На стреме
замрут века, дыханье затая.

Нас трое —
Бог, ты и я.

Закрою
твои глаза — ты видишь сквозь пупок.

Нас трое —
Ты, я и Бог.

И настройте
тычинки, сумасшедшие цветы.

Мы трое,
Бог, я и ты —
мир Трое! —
решили спор войны и красоты.

Гастроли
кончаются. Грядущее темпо.

Мы — трое.
Но мы — одно.

I

В минуту сегодняшней скверны —
не плоскость с двухмерных холстов —
явился мне многомерный
Х р и с т о с .
Шли муки, подобно мосту,
перпендикулярно кресту.

Распинали Его не в одной плоскости, тело Его было раздираемо во все стороны, как стрелки указателя на перекрестке дорог или тесовая крестовина, в которую вставляют рождественскую елку, таким образом Его, вероятно, видели с неба.

И мук этих всерный вектор
сменил плоскостное бревно,
на Юг, Восток, Запад и Север
растягивали Его.

Мужчины, и бабы, и леди,
сменяющаяся толпа,
второе тысячелетье
мы тянем Его на себя.

И, как медицинские банки
иль тянет рогатку дитя,
вытягивались лопатки.
Мы тянем Его на себя.

Тянули Его вертолеты,
крюком за губу зацня,
суда, уходящие в море,
тянули Его на себя,
и рокер в пыльце желторотый,
и баба, от мужа уйдя.

Не на деревяшках же Его распинали! — Поперечники болевой энергии. Бруски беспредела. Растяжение истории. Художники никогда не изображали распятие в профиль, иначе бы им пришлось давать поперечное сечение, где

ребра, как новые руки,
стояли креста поперек,
указывающие муки
не понятых нами дорог.
И крест, разогнувшийся тайно
из молота и серпа,
голодной страны испытанья,
прервав Иоганна Себа-
стиана, гудят окаянню
бастующие таксисты
товарищу отпеванье.
И крови ждут ястреба.
Толпа, депутаты, путаны,
мутанты из Тьмутаракани —
все тянут Его на себя.

Ступни Его вдовы доили,
 впивалась в раскаянье бля,
 тянула ладонь экстрасенса,
 оттягивал зуммер мобильный
 в Чечне, где Его позабыли,
 покойники в автомобиле
 тянули Его на себя.

Кто любит — сильнее тянули,
 кто продал — тянули вдвойне,
 тянули, кто в жизни топули,
 тянул, кто давно на дне.

Будучи в состоянии шока, я не понимал смысла виденного, мне было дано увидеть Его с точки зрения неба, но почему именно сейчас? Когда распятие отвернулось от меня темным силуэтом, я увидел за ним толпу, вернее, лишь глаза, тыщи глаз, глядящих в упор, и в каждом зрачке впечаталось по маленькому эмалевому крестику вверх ногами, каждый распинал Его в собственных зрачках, я купил холст, натянул, рисуя эти тысячи глаз, очей, гляделок, буркал, глазенок, голубых, зеленых, карих, изумленных, серых, золотых, заплаканных, черных.

Но главное — втягивал вакуум
 души, что покинула нас,
 чья тайна забыта за кваканьем.
 Как тянет сейчас!
 И вытянутое сердце,
 где вздутые жил провода,
 как третья ладонь, разжималось,
 просило гвоздя.
 Терновые новые ветки
 ты ставила, кровь соскребя.
 Шины двадцать первого века
 тянули Его на себя.

Дальше не помню, не стирайте память, разум не отнимите!
 «Прощаю, садисты невольные! —
 я слышал. — Печаль утоли.
 Страшной направление боли,
 которое изнутри».
 Меж толпами злых иднотов
 я видел себя самого,
 что натягивал на стадионы
 перепонки ушные Его.

Летя над Ерусалимом,
я видел, что смертным нельзя,
над бьющимся компасом боли,
что видят лишь небеса.
Там ангел и клин журавлиный
кричат и отводят глаза.

Тащило бревно население,
как будто тараня бревно,
любя, мазохистски зверя,
к страданиям иных измерений,
что людям познать не дано.

Ужель меж писательских профи
я был на Голгофе в бистро
потягивать черный свой кофе
из чашек коленных Его?!..

«Прости, — повторяю над пропастью, —
незрячие годы мои,
что видел
в одной только плоскости
безмерные муки Твои».

* * *

Еще немного дай побыть мне так.
В окно запах глухонемой табак.
От рамы тень бретелькой на плечо.
Мне так побыть немного дай еще.
Дай мне немного так еще побыть,
не убегай умыться и попить.
Как, Боже, твой благословенен край!
Еще немного так побыть мне дай.

Держите шатенку!

Она разбегалась и билась об стену —
лицом, животом бесполезно красивого тела.
Лоб всмятку и платье клочками, как пена —
об стену!

«Видать, она в стельку?»

«Давай я тебя уложу, успокою, раздену» —
об стену!

За пошлость измены!

За страшную цену
красивою быть, да еще современной,
за тело, что мучает ночью, а тут еще денно, —
за съехавший с рамой портрет Рубинштейна,
об все деловые постели, об все «невозможно»,
об «тесно» —

об стену!

(И после удара с минуту, наверно,
две нижние доли дрожали, как после Шопена.)

— Прости эту стену,
что нас разделила с тобой постепенно.

— Прости мне, любимый, что я не убила тебя, чтоб
избавить от плена —
об стену!

Прости эту сцену.

Стена победила. Мы теши системы,
об стену!..

Будь благословенна
та сила паденья, что сбивши колени,
бросает на стену!

Ты вдруг вылетаешь таранящим креном —
сквозь стену —
оставив дыру с очертапьями тела.

Сквозь тело летят облака и ночные сирены.

Будь благословенна.

Читаю небо, став душою зорче.
«Я + Ты» — написано окрест.
Окончив труд, неграмотные зодчие
ставили в себе крест.

«Ястреб + облако» — написано над местностью.
Гора + город. Даль + даль.
+ золотая неизвестность,
+ просветленная печаль.

А к вечеру Луна + Солнце,
подчеркнутые линией хлебов.
«Я + Ты» — стоит над горизонтом.
«Небо + Я = любовь».

Безотчетное

Изменяйте дьяволу, изменяйте черту,
но не изменяйте чувству безотчетному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем темноочевая,
ты — мое отечество безотчетное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчетное, это безотчетное,

осень ли настояща на лесной рябине,
женщины ль постукают четками грибными,

иль перо обронит птица неученая —
как письмо в отечество безотчетное...

Шинами обуетесь, мантией почетною —
только не обучитесь безотчетному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начшається безотчетное.

Это безотчетное, безотчетное
над рискованной пропастью вам пройти нашептывает...

Когда черти с хохотом вас подвешат за ноги,
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под занавес.

— Дайте света белого, дайте хлеба черного
и еще отечество безотчетное!

Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.
Как в губке время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю как брелочки
прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея,
плевало время на меня,
плюю на время!

Политика? К чему валаандаться!
Цивилизация душна.
Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зеленая душа.

Мы — битники. Среди хулы
мы — как звереныши, волчата.
Скандалы точно кандалы
за нами с лизгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,
вы думали — я шут?
Я — суд!
Я — Страшный суд. Молись, эпоха.

Озеро

Я ночью проснулся. Мне кто-то сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

Я на себе почувствовал взор,
будто я моря убийца и вор.

Слышу — не спит иркутянин во мгле.
Курит. И предок проснулся в земле.

Когда ты болешь, все мы больны.
Байкал, ты — хрустальная печень страны!

И кто-то добавил из глубины:
«Байкал — заповедная совесть страны».

Плыл я на лодке краем Байкала.
Вечер посвечивал вполнакала.

Ну, неужели наука солгала
над запрокинутым взором Байкала?

И неужели мы будем в истории —
«Эти, Байкал загубили которые»?

Надо вывешивать бюллетень,
как себя чувствует омуль, тюлень,

чтобы никто никогда не сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

Я так долго тебя не писал —
лоб и дом, что никак не наладишь,
запрокинутых зубок печаль —
каждый снизу зазубрен как ландыш.

Как я долго тебе не писал!
По чащобам, свершая порубки,
я на ландыши наступал —
на твои задышавшие зубки.

Я вижу тебя в полдень
меж яблоков печсных,
а утром пробегу —
монахиню моря в мохнатом капюшоне
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,
читаешь километры.
Твой треугольный кроль
бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты,
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь голодные дистанции.
Желание растет.
Как море ни имешь — его все недостаточно.
О, спорт! ты — черт...

Когда швыряет буря ящички
с шампанским
серебряноголовые — как кулачок под дых,
голая монахиня бесшабашная,
бросается под них!

Бледнее под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь, вернувшись в города:
«Кого любила? Море...»
И все ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

Ты вышла на берег и села со мною,
спиною шурша.
Когда ж на плечах твоих высохло море,
из моря ты вышла — и в море ушла.

С тобой я проплыл, проводив до предела,
как встарь — до угла.
Примеривши море на длинное тело,
из моря ты вышла — и в море ушла.

Я помню, как после купания долгого
в опавших подушечках пальцы твои
опять расправлялись упругими дольками,
от солнца наполнившись и любви...

Потом облака золотели от зноя.
И сонное солнце в Элладу ушло.
И лебедю Леда, поправив рукою,
сунет голову под крыло.

Тебя потеряли дозорные вышки.
Вода погремушкой застряла в ушах.
Ко мне обернулись зеленые вспышки —
из моря ты вышла — и в море ушла.

Я к вечеру шестого мая
в глухом кукушкином лесу
шел, просекою подымаясь,
к электротягам на весу.

Как вдруг, спланировав на провод,
вольна причудой неземной,
она, серебряная в профиль,
закувала падо мной.

На расстояние метров сорок,
капризница моих тревог,
вздымала ювелирно зорко
свой беззаботнейший зобок.

Судьбы прищепка бельевая,
она причипою годов
нечаянно повслевала.
От них качался проводок.

И я стоял, дурак счастливый,
под драгоценным эхом их.
Я был отсчитывать не в силах.
Неважно сколько — но каких!

О Боже, — думал, — как жемчужно
писпосланы наверняка —
несобъяснимая пичужка,
нежданье твои века!

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены вцепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого события!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты, — повезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

Через год пролетал он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.

Это было не погребенье.
Была воля небесная скул.
Был пад родиной выдох гребельный —
он по ней слишком сильно вздохнул.

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остудой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Пока будили мы тишину,
подкрались нежные душегубы,
мы лишь успели стряхнуть слюну...
Живые трупы. Мертвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все кубатуры.
Пространство — ваше. Но время — наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубах,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

Имена

Да какой же ты русский,
раз не любишь стихи?!
Тебе люди — гнилушки,
а они — светляки.

Да какой же ты узкий,
если сердцем не брат
каждой песне нерусской,
где глаголы болят...

Неужели с пеленок
не бывал ты влюблен
в родословный рифмовник
отчеств после имен?

Словно вздох миллионный
повенчал имена:
Марья Илларионовна,
Злата Юрьевна.

Ты, робя, окликнешь
из имен времена,
словно вызовешь Китеж
из глубин Ильменя.

Словно горе с надеждой
позовет из окна
колокольню-нездешне:
Ольга Игоревна.

Эти святцы-поэмы
вслух слагала родня,
словно жемчуг семейный
завещав в имена.

Что за музыка стона
отразила судьбу
и семью и историю
вывозить на горбу?

Словно в анестезии
от хрустального сна
имя — Анастасия
Николаевна...

Гекзаметры другу

Сокололетний Василий!

Сирин джипсовый,

художник в полете и в силе,
ржавой подковой
твой рот подковали усищи, Василий,
юность сбисируй, Василий,
где пачищали штиблеты нам властелины Ассирий.

Бросил ты пить. Ты не выпил шампанского ванну,
300 ящ. пива и море разочарований
(в детстве — как фрески — застираемые сатины),
мы — европейцы, Василий, с поправкой на Византию,

бак политуры не допит плюс стопка мальвазии,
мы — византийцы с поправкой на Азию,
мы — азиаты с поправкой на техреволюцию,
гаснут в витринах недопитые иллюзии.

Стали активами наши пассивы, Василий.

Имя, как птица, с ветки садится на ветку
и с человека на человека.
Великолепно звучит, не плаксиво,
велосипедное имя Василий.

Первая встреча: облчудище дуло —
нас не скосило.

Оба стояли пред оцепеневшей стихией.

Встреча вторая: над черной отцовской

могилой

я ощутил твою руку, Василий.

Бог унаси нам встретиться в третий, Василий...

Мы ли виновные в сроках, в коих дружили,
что городские — венозные —
реки нас отразили?

О венцепосное имя — Василий.

Тело мое, пробегая по ЦДЛу,
так просвистит твоему мимолетному телу:
«Ваш палец, Вас. Палыч! Сидите красиво».

О соловьиное имя — Василий.

В полях безоглядных

В полях безоглядных — подобье улыбки.
Забывший на грядке
наперсток клубники.

Куда-то ушли и воткнули лопату.
Над нею струится нога, что копала,
и тело, что стало теперь, вероятно,
дрожаньем улыбки в полях
безоглядных.

Ну почему он столько раз про ос,
сосущих ось земную, произносит?
Он, не осознавая, произнес:
«Ося...»

Поэты любят имя повторять —
«Сергей», «Владимир» — сквозь земную осыпь.
Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул за тыщу лет назад:
«Ох, Осип...»

Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но Ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз».

О нос!..

Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов
по всем
законам
Медицины
торжественно растут носы!

Они растут среди почвы
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
цемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!

(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)

Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:
подобно шпилью,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,

над ним
рос
нос,
как чеки в булочной,
напизывая этажи!

«К чему б?» — гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее — жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,

и говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...

Но это нам не привилось.

Прятелю

Твои вздохи нечисты,
у тебя в душе глисты.
Меня трижды продал ты.
Твоей мукою унылой
окисляются кресты.

Похристосуемся, милый.
Прости.

К нам вселился голубой
погубай.
Он умылся под струей,
покупай.
Всех обидел голубой
обругай.
Наряжается, как площадь Пигаль.
Ночью кашляет, как Баба Ягай.

Был по телику художник Хукасай.
Его имя переврал хулигай.
Хулигай, хулигай!
Сам дурак — не покупай.

Он, как трубка телефонная,
висит.
Целый день, не уставая, говорит.
Он с Австралией подсоединен.
Вечно занят голубой телефон.

Что ты ищешься у гостя в голове? —
Может, мысль обнаружишь или две.
Тебя били, хулигай, —
ты все одно
Говорил: ищцу жемчужное зерно.

А вчера он заболел, погибай,
Видно, мысль плохую съел певзначай!..
«У меня от кошки сердце болит;
Аллергия от нее», — говорит.

На экспорт

Внутри рефрижератора не пошалишь.
Наши лягушки поехали в Париж.

Будет обжираловка на Пале Рояль.
Водитель, врежь, пожалуйста, Элла Фицджеральд.

Превратив в компьютеры, их вернет Париж.
У наших лягушек мировой престиж.

Мимо — две Германии.
В хрустальной мерзлоте
снятся им комарики
без ДЦГ.

Снятся, как их в кринки
клали, в молоко.
Как сто второй икринке
без мамы нелегко!

Кралаи Заонежья
наблюдают сны,
как миллионерши
заморожены.

Кровь, когда-то жидкая,
стынет у цуля.
Спят на пороге жизни
комочки хрусталя.

Что же у таможи
глаза на лбу?
Царевна размороженная
качается в гробу.

Бриллианты сбросит,
попудрит прыщ,
потягиваясь, спросит:
«Уже Париж?»

Превратиться в льдышку.
Превратиться в сон.
И услышать: «Дышит!» —
из иных времен.

В озере присниться
или на реке,
нефтяному принцу
отказать в руке.

Почему не верим?
Подо что засем?
Почему царевен
наших продаем?

Сестра

Сестра, ты в «Лесном магазине»
выстояла изюбрину,
тиха, как в монастыре.
Любовницы становятся сестрами,
но сестры не бывают возлюбленными.
Жизнь мою опережает
лунная любовь к сестре.

Дело не во Фрейде или Данте.
Ради родителей, мужа, брата, etc.
забыла сероглазые свои таланты
преступная моя сестра.

Твой упрямый лобик
написал бы Крапах,
только облачко укоризны
неуловимо для мастерства,
да и руки красные
от водопроводных кранов —
святая моя сестра!

Что за дальний свет состраданья,
обретая на срок земной
человеческие очертанья,
стал сестрой?..

Жила-была девочка.
Ее рост — на шкафу зарубками.
Кто сказал,
что не труженица
лобастая стрекоза?

Маешься на две ставки,
стираешь, шьешь,

не воруеть,
бесстрашная моя сестра.

Для других ты — доктор.
И когда уверенно
надеваешь с короткими рукавами халат —
будто напяливаешь
безголово-безрукую Венеру.
Я с ужасом замечаю,
что торс тебе тесноват...

Ссорясь с подругой и веком
или сойдя с катушек,
когда я на острие —
скажу: «Поставь раскладушку» —
вздыхнувшей моей сестре.

Сестра моя, как ты намучилась,
таща авоськи с морковью!..
Метромост над тобой грохочет
как чугунный топот
Петра.
А рядом — за стенкой,
за Истрою, за Москвою
страна живст, как сестра.

Сестра твоя по страданью,
по божеству родства,
по терпеливой тайне —
бескрайняя твоя сестра...

Сестра моя, не заболела?
Сестра моя, поспала бы...
В зимние вечера
над шитьем сутулятся
две русых настольных лампы.
Одна из них — моя сестра.

Група заглошная, в чаще одна,
я красоты твоей не нарушу.
Ни для кого — лишь для меня
радуешь глаз, радуешь душу.

Сосны цветут — свечи огня
спрятав в ладошки будущих шишек,
тянут, от ветра тебя заслоня.
Хочешь — кури, хочешь — сватайся к Мшишек.

Нету тицеславия в наших лесах.
Виснут черемухи свежие стружки.
Только за то, что от них вы в слезах,
радуют глаз, радуют душу.

* * *

Ушла душа. Земле до лампочки.
С тобой с земли исчезли ландыши.

* * *

Вижу, как сон, — ты стоишь в полукруге
повых подруг девятого дня.
Сосредоточенно, но не в испуге,
будто в обиде, не видишь меня.

А по спине под луной купоросной
льется волос распущенных вал.
Мало я знал тебя простоволосой.
В детстве проснувшись, в пучке заставлял.

Ты была праведница, праведница!
Кто ты теперь? Дай мне знать как-нибудь.
Будто с заминкой какой-то не справишься.
Я не решился тебя спугнуть.

Видно, стояла перед астралом.
Или русалка какая, шутя,
меня разыгрывала, отсталого?
Еще секунду я видел тебя.

Темной тревогой вздрогнуло тело —
мать пролетела.

Милое дело. Обычное дело.
Мать пролетела — жизнь пролетела.

Прондай, прощай! Кружишься над краем плачущим.
Лишь ветви слей, воздух уколов,
поднимут указательные пальчики
спадающих широких рукавов.

* * *

Иду я росой предпокосной
словить электричку скорей.
Паслен и кукушкины слезы
облачат меня до колен.

И долго еще эти травы,
темнея каймою впизу,
как будто по матери траур,
на брючинах серых ношу.

Что ты ищешь, поэт, в кочевье?
Как по свету ни колеси,
но итоги всегда плачевны,
даже если они хороши.

Все в ажуре — дела и личное.
И удача с тобой всегда.
Тебе в кухне готовит яичницу
золотая кинозвезда.

Но как выйдешь за коповязи,
все высвистывает опять,
что еще до тебя не назвали
и тебе уже не назвать.

Вопрошал меня Саратов
по приезде в первый день:
«Как вам нравится Мусатов?»
Я сказал: «Люблю сирень!»

Жил в Саратове бессребреник,
живописец из мещан —
в безутешные сирени
своих женщины превращал.

Разве импрессионисты
открывали пуантель?
В крестик вышитые кисти
или Афанасий Шмель.

И махровая усадьба,
словно белая сирень,
в палисаднике Мусатова
сохранилась по сей день.

Словно речь по телефону,
вопрошающий незрим.
С Виктором Эльпидифорычем
через грозди говорим.

Озаренные озера.
Все простившая стража,
околдованная взором
голубого горбуна.

Где ни едешь — смотрит в форточку —
поломай, кому не лень! —
Виктора Эльпидифорыча
гобеленная сирень.

Рок

Рок надо мною. Куда меня гошите?
 По раскладушкам мечусь, как изгой.
 Горе как погреб в любой раскрывается
 комнате.

Ров подо мною — рок надо мной.

Что я хотел? Чтобы жить как мапило.
 Что получил я? Счет гробовой.
 Под колыбелью раскрылась могила.
 Ров подо мною — рок надо мной.

Это расплата космического расклада.
 Всем, кого любишь, оказываешься бедой.
 Как я любил переделкинские пенаты!
 Смыло щепой.

А в небесах непасытным уроком
 вост дуна,
 что в сердцах самовольно спустила курок.
 Рок над семьею, откуда я родом.
 И над землей, где семья моя, рок.

Чем я служил в эти светлые годы,
 кроме стихов, что попутно изрек?
 Я для народа домашнего был тайным
 громоотводом.
 Трещит позвоночник. Такой уж рок.

Отшумевшие школы. Века и склоки.
Мыши.
На столе лежал незнакомый Шкловский —
золотое яйцо отлетевшей мысли.

Зомби забвенья

Я проснулся от взгляда. Это было у Лобни.
За окошком стояла зомби.

И какая-то потусторонняя сила
внутри форточку отворила.

Моя зомби забвенья, ты стояла в ознобе,
по колено в прощенье,
по колено в сугробе,
потеряв одну туфлю, сжав другую, как бомбу —
моя зомби,
программу забывшая зомби!

Забинтованный палец
с проступившей зеленкой
тербил кончик елочки,
как приспущенный зонтик.

Взгляд ее был отдельным.
Он стоял с нею рядом,
заползал в сповиденье.
Все меж мною и садом
было недоуменно-вопрошающим взглядом
уголовного взлома и душевного слома,
смилуйся,
распрограммируйся, зомби!

Я открыл ей окошко. Вся дрожит, но не входит.
Урезонить паломниц
в мое хобби не входит.
Я захлопнул окошко.
Я крикнул ей в злобе:
«Разблокируйся, зомби!

Ты живешь как под-кайфом,
машинальная зомби,
спишь,
встаешь,
пробегаешь метро катакомбы,
в толпах зомби,
уткнувшихся в «Сына и Домби»,
учишь курсы на тумбе —
скорее диплом бы! —
смилуйся, распрограммируйся, зомби!
Я твой мастер.
Брось фронт. Утри свои сопли.
Кто замкнул твоё ухо серьгою, как шломбой?
Разблокируйся, зомби!»
Я был хамом, не более.
Но какая-то потусторонняя воля
меня бросила в черное снежное поле...

Мы летели с тобой по Тамбовам и Обнипским,
зомби оба,
и почамы во сне ты кричала не маму:
«Я забыла программу,
я забыла программу!..»

И внизу повторяла городов панорама:
«Я забыла программу,
я забыла программу...»

И несущая нас непонятная сила
повторяла:
«Забыла, я что-то забыла...» —
по дорогам земным,
и небесным, и неким —
мы забыли программу, внутреннюю небом.

Смилуйся, распрограммируйся, зомби!
Смилуйся, распрограммируйся, поле!
Распрограммируйся, серое солнце,
в мир, что задумывался любовью.

Смилуйся, распрограммируйся, Время,
чем ты была, если я разумею,

жизнь, позабывшая код заповедный,
зомби забвенья.

Распрограммируйся, туфля-подснежник!
Смилуйся, распрограммируйся, поезд!
Жизнью обертывается позднее
эта и мне непонятная повесть.

Амба. Меня ты назавтра убила.
Но не о том я молю с горизонта:
это тебя не освободило?
Милая! Распрограммируйся, зомби!

Мужчина с дочкой на плечах
шагает через поле хлеба.
Другие ноши тягоцат,
а эта — подымает к небу.

Он на плечах страну носил.
Они шагают силуэтно.
В глазах их северная снь.
Сквозь них просвечивает небо.

Обвязапы, как теплый шарф,
вкруг шеи маленькие поги.
Она несет его как шар
над полем вдоль земной дороги.

Куда несет его она?
В ненаступившее столетье...
Потом ты улетишь одна.
Кто защитит тебя на свете?!

Золоченое разочарование

Твоя «Волга» черная гонит фэры дальние
В роци золоченого разочарования.

Воли лазер чертовый, материнство раннее
мчится в золоченое разочарование!

Посулили золото — дали самоварное.
И зарей подчеркнуто разочарование,

над равниной черною и над тучей рваную
плачет золоченое разочарование!

В роце пыль алмазная, как над водопадом.
Просит притормаживать в пору листопада.

Не гони, шоферочка! Берегись аварии
в это золоченое разочарование.

Эти встречи второпях,
этот шепот торопливый,
этот ветер в тополях —
хлопья спальни тополиной!

Торопитесь опоздать
на последний рейс набитый.
Торопитесь обожать!
Торошиться, торопитесь!

Торошиться опоздать
к точным глупостям науки,
торопитесь опознать
эти речи, эти руки.

Торошиться опоздать,
пока живы — опоздайте.
Торошиться дать под зад
неотложным вашим датам...

Господи, дай опоздать
к ежедневному набору,
ко всему, чья ипостась
не является тобою!..

Эти павки в воротах.
Фары всныхнувшим рапидом.
У шофера — второй парк.
Ты успела? Торопитесь...

Сыграй мне полонез Огинского!
Дешевки хочется, огнистого.
В пошлятине и дешевизне
есть боль, оплаченная жизнью.

Мсти, мсти, мадмуазель Грушницкая!
За сверхлюдей, за ложь романов,
за полумесяцы брусничные
твоей помады на стаканах.

За всю судьбу нашу вокзальную,
за жить попытку истеричную,
за городок провинциальный,
опохмелившийся «Столичною».

И вдруг прервешь свой визг униженный,
упав на клавиши с локтями.
Такую чистоту увижу я,
глядищую в нас состраданьем!

Сквозь эту исповедь в отеле
вдруг понял я — почему именно
Он свое умершее тело
такой, как ты, доверил вымыть...

Еще, еще одну убили!..
Да! — будет Свет, а не группешник.
Да! — не случались, а любили.
Да! — королева, а не пешка.

Это ни на что не похоже!
Ты топчешь сапожками пальто.
Ты не похожа на бешеную кошку.
Ты не похожа ни на что.

Твоя нежность не похожа на нежность.
Ты швыряешь чашки на пол, на стол.
Ты не похожа на безрукую Венеру.
Ты не похожа ни на что!

За это без укоризны,
и несмотря на то,
зову тебя своей жизнью.
Все не похоже ни на что.

Брат не похож на брата,
боль не похожа на боль.
Час отличается от часа.
Он отличается тобой.

Море ни на что не похоже.
Дождь не похож на решето.
Ты все продолжаешь? Боже!
Ты не похожа ни на что.

Ни на что не похожа тишина свободы.
Вода не похожа на горячую кожу щек.
Полотенце не похоже
на стекающую

со щек воду.

И совсем не похож на певолу
накинутый на дверь крючок.

* * *

Ты живешь до конца откровенно.
И от наших запутанных дней
два стежка проступили над веной,
слава богу, над ней.

И чем больше рука загорает
и откинется в счастье рука,
все яснее на ней проступают
два спокойных и скользких шнура.

* * *

Распрямились года, как вода.
От жемчужного сна озорного
не осталось в душе и следа.
Но осталась заноза.

Нож возьму, не ропща, не мудря.
Соперировать — экая малость!
Чисто вырезал — до нутра.
Аж наружу зияет дыра.
Но заноза осталась.

Великий хоккеист работает могильщиком.
Ах, водка-матушка,
ищи меня на дне...
Когда он в телевизорах
магичествовал,
убийства прекращались по стране.

Он был капризный принц
Олимпа и Сабены,
а после тридцати
он так застрессовал
наедине с забвеньем —
не дай вам бог перенести!

Он понял что-то
выше травм и грамот.
Над ямой он обтер
бутылку и батон.
Познал бы истину,
когда б работал Гамлет
сначала Йориком, могильщиком — потом.

«Ляжем — сравняемся», —
он говорил девчатам.
«Ляжем — сравняемся», —
он оборвет меня.
Не в голубой конек —
в глубинную лопату
врезается ступня.
Ляжем — сравняемся —
кумиры и селяне,
ляжем — сравняемся —
народы и леса,
в великой темноте в неназванном сиянье
ляжем — сравняемся.

Там побежденному стал победитель равен,
там, бывшие людьми,
безмолвные глядят —
взгляд клена, взгляд звезды и придорожный
камень.

Потом и камня нет.
Остался только взгляд.

Он погружается, дымя сигаркой в вечность.
Кто не сшибал верхов, тот не познал глубин.
Он погружается
по поясу, грудь, по плечи.
Прямоугольный мрак.
Живой дымок над ним.

Сограждане!
Над ним не надо зубоскалить.
Рублевые цветы
воруют с похорон,
надежда падшая
за вас подымет ишкалик —
наш надший чемпион.

Портрет

Над могилой с молодым портретом
наклонилась женщина с пучком.
Лапотник поправит и потреплет.
А вспугнут — отпрыгнула бочком.

Почему она, оставив лейку, —
будто век работала в саду, —
прячется в соседнюю аллею
и пережидает, что уйду?

Что-то в ней до боли незнакомое.
Фото мною вправлено в металл.
Перед ним поправила заколку
И портрет затрепетал.

И потом, закрытая спиною,
из него, как в зеркале, легко
примется подглядывать за мною.
Боже! Я узнал Твое лицо.

Частное кладбище

Памяти Р. Лоуэлла

Ты проходил переделкинскою калиткой,
голову набок, щекою прижавшись к плечу —
как прижимал недоступную зрению скрипку.
Скрипка пропала. Слушать хочу!

В домик Петра ты вступал близоруко.
Там на двух метрах зарубка, как от топора.
Встал ты примериться под зарубку —
встал в пустоту, что осталась от роста Петра.

Ах, как звенит пустота вместо бывшего тела!
Новая тень под зарубкой стоит.
Клены на кладбище облетели.
И недоступная скрипка кричит.

В чаще затеряло частное кладбище.
Мать и отец твои. Где же здесь ты?..
Будто из книги вылули вкладыши,
и невозможно страничку найти.

Как тебе, Роберт, в новой пустыне?
Частное кладбище носим в себе.
Пестик тоски в мировой пустоте,
мчащийся мимо, как тебе нмя?
Прежнее имя как платье лежит на плите.

Вот ты и вырвался из лабиринта.
Что тебе, тень, под зарубкой в избе?
Я принесу пастернаковскую рябину.
Но и она не поможет тебе.

Строки Роберту Лоуэллу

Мир
праху твоему,
прозревший президент!
Я многое пойму,
до ночи просидев.

Кепчоночку сниму
с усталого виска.
Мир, говорю, всему,
чем жизнь ни высока...

Мир храпу твоему,
Великий Океан.
Мир — пахарю в Клину.
Мир,
сан-францисский храм,
чьи этажи, как вздох,
озонны и стройны,
вздыхнут по мне разок,
как легкие страны.

Мир
паху твоему,
почпой нью-йоркский парк,
дремучий, как инстинкт,
убийствами пронах,
природно возлежишь
меж каменных пожниц.
Что ты понатворишь?

Мир
пиру твоему,
земная благодать,

мир праву твоему
меня четвертовать.

История, ты стон
пророков, распинаемых крестами,
они сойдут с крестов,
взовьют еретиков кострами.
Безумствует распад.
Но — все-таки — виват! —
профессия рождать
древней, чем убивать.

Визжат малыцы рожденные
у повитух в руках,
как трубки телефонные
в притихшие века.

*Мир тебе,
Гуго,
миллеровский пес,
миляга.*

*Ты не такса, ты туфля,
мокаси с отставшей подошвой,
который просит каши.
Некто Неизвестный напялил тебя
на левую ногу
и шлепает по паркету.
Иногда Он садится в кресло нога на ногу,
и тогда ты становишься носом вверх,
и всем кажется, что просишь чего-нибудь
со стола.
Ах, Гуго, Гуго... Я тоже чей-то башмак.
Я ощущаю Нечто, надевшее меня...*

Мир неизвестному,
которого нет,
но есть...

Мир, парусник благой, —
Америку открыл.
Я русский мой глагол
Америке открыл.

В ристалищных лесах
проголосил впервые,
срываясь на верхах,
мучительную музыку России.

Не горло — сердце рву.
Америка, ты — ритм.
Мир брату моему,
что путь мой повторит.

Поэт собой, как в колокол,
колотит в свод обид,
Хоть больно, но звенит...

Мой милый Роберт Лоуэлл,
мир Вашему письму,
печальному навзрыд.
Я сутки прореву,
и все осточертит,

к чему играть в кулак
(пустой или с начинкой)?
Узнать, каков дурак —
простой или начитанный?

Глядишь в сей час — оно
давнее, чем давно,
величественно, но
дерьмее, чем дерьмо.

Мир мраку твоему.
На то ты и поэт,
что, получая тьму,
ты излучаешь свет.

Ты хочешь мира всем.
Тебе ж не настает.
Куда в такую темь,
мой бедный самолет?

Спи, милая,
дыши
все дольше и ровней.

Да будет мир души
измученной твоей!

Все меньше городок,
горящий на реке,
как милый ремешок
с часами на руке,

значит,
опять ты их забыла снять.

*Они светятся и тикают.
Я отстегну их тихо-тихо,
чтоб не спугнуть дыхания,
заведу
и положу налево, на ощупь,
где должна быть тумбочка...*

Почему два великих поэта,
проповедники вечной любви,
не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат, а люди — увы...

Почему два великих народа
холодеют на грани войны,
под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны — увы...

Две страны, две ладони тяжелые,
предназначенные любви,
охватившие в ужасе голову
черт-те что натворившей Земли!

Ах, московская американочка...
Обернулся Арбатом Бродвей.
На меня опускается парочка
из Москвы упорхнувших бровей.

Разве мыслимо было подумать,
что в Нью-Йорке, как некогда встарь,
разметавшись, уснем на подушке,
словно русско-английский словарь?

Мировые границы отрищем.
Будут стулья в шикарном тряпье.
Засыпая, ты скажешь мне: «Дриминг...»
«Дрсма, дрема», — отвечу тебе.

Я обвиняюсь

Вознесенский, агент ЦРУ,
притаившийся тихою сапой,
я преступную связь признаю
с Тухачевским, агентом гестапо.

Подхватив эстафету времен,
я на явку ходил к Мейерхольду,
вел меня по сибирскому холоду
Заболоцкий, японский шпион.

И сто тысяч агентов моих,
раскупив «Ахиллесово сердце»,
завербованы в едиповерцы.
Есть конструктор ракет среди них.

И от их неприглядных систем,
ко мне тянутся страшные нити —
признаю, гражданин обвинитель.
Ну, а ваша пресметственность — с кем?

Признаю и страшней аргумент —
прославлялся моей какофонией
в пломбированном грозном вагоне
некто Ленин — «немецкий агент».

Прошло много ли, мало —
спова стон из тумана:
«Разве я понимала?
Разве я понимала?»
Где-то в Тьмутаракани
в номерах у вокзала —
«Я была молодая.
Разве я понимала?»
Непонятная сила,
что казалась романом —
«Один раз я любила.
Разве я понимала?»
Самолеты летели,
и менялись составы.
Твое солнце налсво.
Мое солнце направо.
«Один раз я любила.
Разве я понимала?»
Менять шило на мыло —
я тебе не «меняла».
Не вопи ты над нами
темнотой поминальной!
Или это поддатый
голос Бога в тумане?
Я люблю тебя, дура,
моя жизнь золотая.
Разве я понимаю?
Разве я понимаю?

* * *

Поставь в стакан замедленную астру,
где к сердцевине лепестки струятся —
как будто золотые астронавты
слетелись одновременно питаться.

Я спросил у Папы Римского:

«Вы верите в тарелки?»

Улыбнувшись как нелестно,

мне ответил Папа:

«Нет».

И Христос небес касался,

легкий, как дуга троллейбуса,

чтоб стекала к нам энергия,

двига мир две тыщи лет.

В папскую библиотеку

дух Ив́анова наведывался.

И шурился рукав папирусный. Был по времени обед.

Где-то к Висле мчались лебеди.

Шла сикстинская побелка.

И на дне реки познания был турецкий пистолет.

Пазолини вел на лежбище по Евангелию и Лесбосу.

Боже, где надежда теплится?

Кому вернуть билет?

Бах ослеп от математики,

если только верить Лейбницу.

И сибирской группы «Примус»

римский был эквивалент.

Округлив иллюминаторы,

в виде сушицы и хлебницы

проплыла Капелла Паццы, как летающий объект.

В небесах на телеспутнике

Си-би-эс сражалась с Эй-би-си.

Жили жалко. Жили мелко. Не было идей.

Землю, как такси по вызову,

ждала зеленая тарелка.

Кто-то в пой спросил по рации:

«Вы верите в людей?»

- Вы читали? — задавили Челентано!
- Вы читали, на эстраде шарлатаны?
- Вы читали, в президенты кого выбрали?
- Не иначе, это Джуна. Чую фибрами.
- В одной школьнице во время медосмотра обнаружили Людовика Четвертого!
- Начиталась. Наглotalась эпохально...
- Вы читали? — биополе распахали.
- Если хочется вам криночку коровьего, о нем можно прочитать у Григоровича.
- Мы до дырок Окуджаву зачитали.
- Вы видали? Шел потертый... Мы в печали.
- Вы считали, с кем жила Анна Андреевна?
- А с кем не жил Александр Блок, считали?
- Вы считаете Москву большой деревней?
- Нет. Но я люблю ее, избу-читальню.

Ты мне никогда не снишься.
Живу Тобой наяву.
Снится все остальное.
И это дурные сны.

Спишь на подушке ситчика.
Вся загорела слишком.
Дышит, как чайное ситечко,
выбритая подмышка.

Набережная Софийская!
Двери балконной скрип.
Медвяная метафизика
пахнущих Тобой лип.

1

Где я последние дни ни присутствую,
по захолустьям жизни забитой —
будто находишься в устье предчувствий,
переходящем в море событий.

Все, что оплакал, сбывается бедственно.
Ночью привидится с другом разлука.
Чувство имеет обратное действие.
Утром приедешь — нет его, друга.

Утро приходит за кукареканьем.
О, не летайте тем самолетом!
Будто сначала пишется реквием,
а уж потом все идет как по нотам.

Все мои споры ложатся на решку.
Думать опасно.
Только подумаю, что ты порежешься, —
Боже! — вбежала с порезанным пальцем.

Ладно, когда б это было предвиденьем.
Самая мысль вызывает крушенье.
Только не думайте перед вылетом!
Не сомневайтесь в друге душевном!

Не сомневайтесь, не сомневайтесь
в самой последней собаке на свете.
Чувством верните ее из невнятиц —
чтоб не увидеть погтей синеватых —
верьте...

2

Шел я вдоль русла какой-то речушки,
грустью гонимый. Когда же очухался,

время стемнело. Слышались листья:
 «Мы — мысли!»
 Пар подымался с притоков речушки:
 «Мы — чувства!»

Я заблудился, что было прискорбно.
 Степь начиналась. Идти стало трудно.
 Суслик выглядел перископом
 силы подземной и непробудной.

Вышел я к морю. И было то море —
 как повторенье гравюры забытой —
 фантазмагория на любителя! —
 волны людей были гроздьями горя,
 в хоре утопших, утопий и мора
 город порхал электрической молью,
 трупы истории, как от слабительного,
 смыло простором любви и укора.
 Море моею питалось рекою.
 Чувство предшествовало событию.

Круглое море на реку надето,
 будто на ствол кропа шумного лета,
 или на руку боксера перчатка,
 или на флейту Моцарт печальный,
 или на душу тела личина —
 чувство являлось первопричиной.

«Друг, мы находимся в устье с тобою,
 в устье предчувствий —
 там, где речная сольется с мирскою,
 выней из устья!»

Видишь, монетки в небе мигают.
 Звезды зовутся.
 Эти монетки бросил Гагарин,
 чтобы обратно в небо вернуться...»

Что это было? Мираж над пучиной?
 Или замкнулся с душой мировую?
 Что за собачья эта кручина —
 чують, вернее, являться причиной?..
 И окружающим мука со мною.

Из давнего дневника

Ты сожмешься в комок неузнанно.
Я тебе подоткну пальто.
Чтоб от Северного до Южного
всем твоим полюсам тепло.

Все летаем с тобой, летаем,
пристегнувшись одним ремнем.
Завтрак в Риге, а ужин в Таллине,
Там вздремнем.

Но на самой заброшенной трассе
снова примутся узнавать.
И на их всесоюзное «здрасьте»
крикнешь: «Здравствуйте, об вашу мать...»

Но когда ты выходишь на сцену,
у меня замирает в ушах
от такого высотного крена,
аж земля из-под кресла ушла.

За кулисами будет нашествие.
Толкотня.
Равнодушно и сумасшедше
в сантиметре пройдешь от меня.

Я пойму, что погодка летная,
по едва приоткрытому рту,
что курсируют самолеты
на Одессу и Воркуту.

Когда домой я по небу вернулся,
карман нагрудный расстегнул я хрупко.
Три листика масличные свернулись
в продолгие серебряные трубки.

Будто, гадая, в шапку положили
бумажки свернутые. Жуть.
Записки с гефсиманскими прожилками.
Сладко и страшно развернуть!

Гора решенья. И гора страданья.
И за спиной Восток.
Сквозь гору проступает тайная
цепочка из крестов.

Он там пятнадцать остановок сделает,
прижав к камням,
как поцелуи осыпают тело
от уст к устам.

Он на гору размяться выйдет.
И пад второй горой
он словно в зеркале увидит
крест теневой.

И в спину бьющее светило,
на облако отбросив тень,
Его на небо пригвоздило.
Так по сей день:

«Петр отречется.
Страшной дисциплиною
я форму крестную приму.
От рук моих святящиеся линии
продлятся в космос и на Колыму.

Ученики,
к чему рыдаешь?
Я так решил.
Не отойти.
Рейсшина моего страданья
прочертит
человечеству
пути».

25 октября 1989

На склоне
лет земных
гляжу с горы Масличной. — это Ты, Господи!
Это я, Господи!
Петуший крик
стал куполом яичным,
это Ты, Господи.
Облаянный,
в парах бензина —
это я, Господи.
В кафеинных парусах
Ерусалима —
это Ты, Господи.
Отцовский голос слышу
над долиной.
И чаша пронасти
пеотвратима —
это Ты, Господи.

Я выполнил, Отец,
твою программу.
Но сколько во мне теплого
и костного...
Я мёл душою,
как метлой поганой.
Прими, Господи,
социалистического
пилигрима.
Это мы, Господи,
с моим народом
веру погребли мы
и сорим в космосе.

На склоне лет земных гляжу с горы Масличной — это я, Господи!

Маслины
слебли от машины.
И куполами
в сумерках круглы
объята русской Магдалины
сомкнулись
над коленями горы.

И страшный путь
шел в небо прогибаясь,
как ванты Крымского моста.
И вьслась в камни, спотыкаясь,
тьнь от креста.
Путь жизни близок
к высшей точке.
И листики маслин,
размером точно в эти строчки,
записывали за ним.

Я — ветка Божья
северной долины,
где избы горбятся.
Присутствие любви
неодолимой —
это Ты, Господи.

Где ошибался, волком жил
с волками —
это я, Господи.
Все что я спел
от «а» до «я» стихами —
это Ты, Господи.

Иерусалим
Масличная гора
26 октября 1989 г.

ВЕЧНОЕ МЯСО

Поэма

82 А. Вознесенский

В Якутии было найдено мясо мамонта, пролежавшее в вечной мерзлоте 13 тысяч лет и сохранившее дыхание жизни. Мясо дали попробовать собакам. Те ели с удовольствием. С подаренной мне шерстью этого мамонта я вернулся в Москву, где в июле проходила встреча с зарубежными писателями. Я пытался соединить в поэме мелодику якутского и русского эпоса. Духи Олох — жизнь по-якутски, и «Олуу» — смерть — были крестными поэмы. Они трубили свое «олохолуу» — над ее рифмами.

Пролог

1

Псы XX века рвут мамонтово мясо.
Его извлекли из мрака нефтянки, роя трассу.
Свидетельствуют собаки, что мясо живое. Ясно?

В том мясе, розовато-матовом,
таилась некая
страпность,
едва его нож отхватывал,
опо на глазах
срасталось.
Чем больше рвали от мамонта —
тем больше его
оставалось.

Да здравствует вечное мясо,
которое жрут
собаки!
Тринадцатитысячелетняя
кровь брызжет на
бензобаки.

Но, несмотря на тварищ,
жизнь полнится от
прироста —
чем больше от нее отрываешь,
тем более
остается...

Посапывал мамонтенок,
от времени
невредимый...
Оттаивал, точно тошик,
на рыжих шерстинках
иней,
Водители пятитопок его окрестили Димой.

2

Зачем разбудили Диму?
На что ты обиделся, Дима?
Зачем, аксельрат родимый,
растоптал ты Заготпушнину
и взялся за Дом колхозника?
Он ответил: «Ищу Охотника,
что мне порвал сочленение
В третье тысячелетие».

Зачем ты бушуешь, Дима?
Громишь галереи картинные
усопших основоположников
и здравствующих кусошников?

Он ответил: «Ищу Художника,
что дал мне в скале бессмертие
в третье тысячелетие».

3

Мамонт пролетел над Петрозаводском,
трубя о своем сиротстве.
Чем больше от сердца отрываешь,
тем больше на сердце остается.

1. Прохоров

Завбазой Димитрий Прохоров
тоже мясца попробовал.

«Я мамонт, — вопит, — я мамонт!»
 Жена его не понимает:
 «Мундук ты, муж, а не мамонт,
 все не просыхаешь, Прохоров.
 Принес бы вечного мяса,
 мы стали б ударной базой,
 родне бы послали окорок,
 на рынок возили б — плохо ли?
 Где порох мужской твой, Прохоров?
 Месяц меня не касается».
 Но Прохоров не вникает.
 Из хобота в душевой обливается.

«Я мамонт, — вопит, — товарищи,
 в семье и на производстве.
 Чем больше от себя отрываешь,
 тем больше на сердце остается».
 И в глазах у него истома.
 Так Прохоров ушел из дома.

2

Мамонт пролетел над Воропскем,
 как будто память злосчастная,
 чем ее больше гонишь,
 тем больше она возвращается.

Мамонт пролетел над Аризоной,
 трубя по усопшим предкам —
 его принимали резонно
 за неопознанные объекты.

3. На базаре

Трубач Арлекин Тарелкин,
 аллергик,
 труба мирового класса,
 не взял на базаре мяса.
 (7 р. показалось ему странным.)
 Оскорбился трубач ресторанный,
 покрутил ключом от «мерседеса»,
 и задумал трубач паскуду:
 «Мои легкие — безразмерны.
 Я вдую в себя атмосферу,
 а выдувать не буду».

После первой затяжки
 он ростом стал со слопенка,
 после второй затяжки
 глаза вылетели, как шампанское,
 после третьей затяжки
 на рынке дефицит кислорода.
 А трубач взлетал над народом,
 раздувался все больше, больше,
 подымался все выше, выше,
 и все меньше в глазах стаповился.

Ключик с небес свалился.

4

Или это лже-Дима?

5

Мамонт пролетел над Россией,
 не слоник из мармелада —
 помните, беда разразилась,
 когда вскрыли гроб Тамерлапа?
 Не трогай мир мемориальный.

6. Кассирша

Кассирша авиакасси
 тоже вкусила мяса.
 Кавалеров не забывает,
 а любовь в ней все прибывает.
 Какая она красивая!
 Пышнее киноактрисы.
 Ей тесно в тужурке синей,
 с косой золотой австрийской!
 Диспетчерша острит, точит лясы:
 «Проверяйтесь, не отходя от кассы».
 По на сердце у девушки — проголодь...
 Не вычерпать ее чашкой чайною,
 не вычерпать ложкой столовою,
 автономной не откачаете...

Пролетал ее шурин, Прохоров,
 пролетал Тарелкин, мужчина,

Омский хор пролетал на Вену.
Сыпа ей падо, сына...

Мамонт мой, маленький комарик,
царевич — неубиенный!

7

Мамонт пролетел над Коломенским,
загнувши салазки бивней —
чем больше друзей хороишь,
тем память их неизбывней.

8. Возвращение

Прямо с аэродрома,
шерстью мамонтовой бахвалясь,
пакрутив, как кольцо, на палец,
я явился в Дом литераторов.

Там в сиянии вентиляторов
заседало большое Лобби:
Там были — Прохоров, Олби,
Макгибин с мелкокалиберкой
и отсутствующий Лоуэлл,
бостонец высоколобый,
что некогда был Калигулой.

Я им закричал: «Коллеги!
Охотники и художники!
Отныне мы все задолжники
бессмертно вечного мяса.
Мы живы и не во мраке,
нока нас грызут собаки!»

Лоуэлл не засмеялся.

Лишь колечко растер порогами,
будто пробовал лист лавровый...

Ты умрешь через месяц, Лоуэлл,
возвращаясь в такси оплошном
от семьи своей временной — к прошлой,
из одной эпохи в другую!

Закрутились нули таксиста
 где-то в области метафизики,
 мимо Рима, Москвы, Мемфиса,
 мамонт белый и мамонт сизый,
 пронеслась — и на том спасибо —
 жизнь, золотая тайна,
 милостыня мирозданья.

9

Мамонт пролетел над Волгоградом,
 мамонт пролетел над Ворошиловградом,
 мамонт пролетел над Царьградом,
 мамонт пролетел над стаповьем Кы,
 с хвостиком, как запятая Истории,
 за которым последует столько.

За 13 тыщ лет до Маркса,
 за 11 до христианства
 и, в печенку вечного мяса
 вгрызаясь, висли собаки.
 Мамонты разлетались, однако.

10. Вернисаж

На выставку художника Прохорова
 народ валит, как на похороны.
 «Не давите!» — кричат помятые,
 оператор кричит: «Снимаю!»
 кто умен, кричит: «Непонятно!»,
 а дурак кричит: «Понимаю!»

Были: коллекционер Гостаки,
 Арлекин Тарелкин с супругой,
 блондиночкою упругой,
 композитор Башляк с собакой, —
 толкались, как на вокзале.

Прохоров пришел в противогазе.
 «Протестует, — восхищаются зрители, —
 против духоты в вытрезвителе».

Вы помните живопись Прохорова?
 Главное в пей — биокраски.

Они расплзаются, как рана,
потом на глазах срастаются.
Наивный шпиг композитора
аж впился в центр композиции.

Прохоров простил болонку:
«Я мыслю тысячелеткой.
Мне плевать на понимание потомков,
я хочу понимания предков,
чтоб меня постиг, понимающ,
дарующий смысл воспроизводства:
чем больше от себя отнимаешь,
тем более остается».

Тут случилось невероятное.
Гостаки роздал свою коллекцию,
Тарелкин супругу дал товарищу,
Башляк свою мелодио
подарил Бенджамину Бриттсену.
Но странно — чем больше освобождались,
богатства их разрастались:
коллекция прибывала,
супруга на глазах размножалась,
мелодии шли навалом.
Но тут труба заиграла.

Заиграла, горя от сполохов,
золотая труба Тарелкина.
Взяв «Охотничье allegro» —
«Нет! — сказал ревнивый Тарелкин. —
Я тебя вызываю, Прохоров!
Мы таим в своем сердце Время,
как в сокровищнице Ширази.
Мы — сужающиеся вселенные,
у тебя ж она — расширяется.
Ты уводишь общество к пропасти,
ты нас всех растворишь друг в друге.
Я тебя вызываю, Прохоров,
за поруганную супругу!»

Начал дуть трубадур трактирный,
начал нагнетать атмосферу,
посрывало со стен картины,
унесло их в иные сферы.

«Подражатель Тулуз-Лотрекин,
отучу тебя от автографов».

«Да!» — сказал ревнивый Тарелкин.

«Нет», — лениво ответил Прохоров
и ударил Тарелкина по уху.

Бой Охотника и Художника,
перед бабой и небесами!
Визг собак, пожей и подпожек.
У обоих разряд по самбе.

Чем окончится поединок?

Но этаж обвалился с грохотом,
и с небес какой-то скотина
проорал:
«Побратим мой Прохоров,
я — Дима!»
Больше не видели побратимов.

11. Голос

Раздайте себе песедля,
даруя или простивши,
единственный рубль имея,
отдайте другому тыщу!

Вовеки не загпивает
вода в дающих колодцах.
Чем больше от сердца отрываешь,
тем больше в нем остается.

Так мать — хоть своих орава, —
чужое берет сиротство,
чем больше от сердца отрываешь,
тем больше в нем остается.

Люблю перестук товарный
российского разноверстья —
сколько от себя оторвали,
сколько еще остается!

Какое самозабвенье
в воздухе над покосами,

как будто сердцебиение,
особенно — над погостами.

Под крышей, как над стремпиной,
живешь ты бедней стрижики,
по сердце твое стремительное
других утешает в жизни...

Пекущийся о народе,
раздай бриллиант редчайший,
и станешь моложе вроде,
и сразу вдруг полегчает.

Бессмертие, милый Фауст,
простое до идиотства, —
чем больше от сердца отрываешь,
тем больше жить остаешься.

Раб РОСТА или Есенин
не стали самоубийцами,
их щедрость — как воскресение,
звенит над себялюбивцами.

Нищему нет пожаращ.
Беда и победа — сестры.
Чем больше от сердца отрываешь,
тем больше ему достается.

Эпилог

Почему онемела комиссия,
вскрыв мамонтово захоронение?
Там в мерзлоте коричневой
севернее Тюмени
спят Прохоров и Тарелкин,
друг друга обняв, как грелки.
Мамонты-бедолаги,
веры последней дети...

Попробуйте их, собаки
новых тысячелетий.

Малый зал

Я сегодня приду
и спокойно скажу,
что двадцатый окончился век.
Свои книги сожгу,
твои платья сложу,
«Мы свободны, — скажу, — без помех».

Отключится вода,
и включится звезда,
и забьешься ты в пляске своей.
Частым жабрам под стать
будут воздух хватать
треугольники жадных локтей.

Посреди темноты
заскользит, словно шрам,
след резинки над животом.
Я увижу, что ты —
пополам, пополам —
в этом веке и веке другом.

Обернусь я к гостям —
гости все пополам,
перерезаны в пояс столом.
Каждый в веке своем
мы по пояс живем,
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» —
ты ответишь под смех.
Современники дискотек
будут в пол нам стучать
и напомнят опять,
что бессмертен XX век.

Водяные

Р. Щедрину

Мы — животные!
Твое имя людское сотру.
Лыжи водные
распрямяют нас на ветру.

Чтоб свобода нас распрямила
на лету —
словно рвешь лошадиную силу
на Личиковом мосту.

Одиночество! —
вся надежда на позвоночники.
Не сорваться бы —
мы животные цивилизации.

Берег. Женщина-невеличка.
Счастье — вот оно!
И в боксерских перчатках спички.
Мы — животные.

И змеиному телу подруги,
приподнявшейся на руке,
мы, наверное, кажемся плугом,
накрепившимся вдалеке.

Трепированные на водных,
на земных,
мы осваиваемся свободно
на воздушных и на ипых.

Человекообразные други
нас облают в этой связи.
Человекообразные духи
нам указывают стези.

Голова на усах фекальных
выплывает из глубины.
Что же держит нас вертикально?
Тяга женщины и страны.

Где каким-то чудом сохранны,
запрокинутые назад,
ухватясь за твои телеграммы,
покосившись, столбы летят.

И когда душа моя по небу
взмает вовремя —
что ей в это мгновение вспомнится?
Лыжи вольные!

Я водные лыжи почти ненавижу,
когда надеваю воздушные лыжи.

Полжизни вложил я в воздушные лыжи,
полнеба за трос вырывая двужильно.
Мои провозвестники кончили грыжей,
воздушные лыжи со мною дружили.

Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,
ты воздух хватаешь как водная лилия.
На водные доски тебя не поставишь.
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.

Не ешь до звезды. И питайся любовью,
сдирая лодыжки о воздух и крыши.
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей
за то, что познала воздушные лыжи.

Пойми, что энергия — та же материя.
Ладошка твоя щурит свет Моны Лизы.
Но только одна не катайся. Смертельно!
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.

Я видел тебя над Парижем и Вяткой.
Прощай! Я живую тебя не увижу.
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,
как стрелки часов, две скрещенные лыжи.

Мое преступленье ужасно. Я спятил.
Ты же —
жива. Ты по небу катаешь на пятке.
Зачем ты сломала воздушные лыжи?

Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.

И когда смычок касается
его певчих древесин,
Паганини и Касальсы
не соперничают с ним.

Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы смиленные стоят
по Садовому кольцу.

Сколько стопа заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные сопрано
венских стульев без гвоздей.
Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —
исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.

Когда сердце сиротою,
не для суетных смотри
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар —
деревянной малой родине.
Обожая Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрительным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.

Герцена интеллигенция!
Кто раскаялся, что лгал,
пусть подаст, как индульгенцию,
контрамарку в Малый зал.

В этом схожесть с братством ложки
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь...
В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над Консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егория
не с копьем, но со смычком.

Первый автобус

К шестичасовому сподобясь,
спиной ощущая страну,
я в загородном автобусе
заутреню отстою.

Автобус дыханьем потопится,
и буду я в угол забит,
когда вся округа в автобусе,
как лошади, стоя спит.

О чем ты забылся, биндюжник,
как кариатид в уголке?
По сою твой капелью жемчужной
остался на потолке.

На утренних лицах помятых,
как выпуклы книги слепых,
такое я понимаю,
как будто я сам их слепил.

Спи, рыжая, ахнув на рытвинах.
Чей муж тебе снится в пути?
Старуха с глазами открытыми,
еще полчаса тебе, спи.

Что снится торгашке спрессованной,
вздохнувшей, как кодексе почти:
«Имейте, товарищи, совесть!»
Спи, совесть автобуса, спи.

Навеки уже не расстаться
с объявшею жизнью земной,
когда не осталось пространства
меж жизнью чужою и мной.

В тумане буханкою хлеба
автобус ползет, как слепец.
Ломтями пшеничного света
свет окон ложится на лес.

Не видел я спящих царевен,
висящих в хрустальном лесу,
но видел, как спит современница
в автобусе на весу.

Подняв кулачок, как свобода
с картины Делаакруа,
сжав поручень над проходом,
спокойно и гневно спала.

Виденья вчерашних загулов
твои утомляли черты.
О чем ты над нами вздохнула?
И большее что-то, чем ты...

Как поднятый лебедь за шею,
на белой ручонке висишь.
И я объяснить не сумею,
какая великая тишь,

какая свобода настала,
похожая на обряд,
когда, чтобы ты не упала,
прижав тебя, жизни стоят.

Не видел я, как ты вышла.
Наверно, прослала, лети.
И вытащил кто-то сквозь крышу
за белую руку тебя.

А тот, кто не встал пред тобою
и места не уступил,
лишился не только свободы —
спасенье души упустил.

Шекспировский сонет

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...
Да жаль тебя покинуть, милый друг.
Перевод С. Маршака

Охота сдохнуть, глядя на эпоху,
в которой честен только выпивоха,
когда земля растащена по крохам,
охота сдохнуть, прежде чем все сдохнут.
Охота сдохнуть, слыша пустобреха.
Мораль читают выпускницы Сохо.
В невинность хам погрузится по локоть,
хохочет накопительская похоть,
от этих рыл — увидите одно хоть —
охота сдохнуть...
Да друга бросить среди этих тварищ —
не по-товарищески.

*Давно бы сдох я в стиле «девалей»,
но страсть к тебе с убийствами в контрасте.
Я повторяю: «Страсти доверай»,
trust страсти!
Да здравствует от этого пропасть!
Все за любовь отчитывать горазды,
конечно, это пагубная страсть —
trust страсти.
Власть упадет. Продаст корысть ума.
Изменять форму транспортные трассы.
Траст страсти, ты не покидай меня —
траст страсти!*

Единственно живой средь неживых,
свидетелем он Рая стал и Ада,
обитель справедливую Расплаты
он, как анатом, все круги постиг.
Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.
Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.
Он флорентийской банде был смешон.
Непониманье гения — закон.
О, дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

Звезде его все словеса — как дым.
 Похвал, достойных Данте, так темного.
 Мы не примкнем к хвалебному потоку.
 Хулителей его мы пригвоздим!

Прошел он двери Ада, невредим,
 пред Данте открывались двери Бога.
 Но люди, рассуждавшие убого,
 дверь родины захлопнули пред ним.

О родина, была ты близорука,
 когда казнила лучших сыновей,
 себе готова худшую из казней.

Всегда ужасна с родной разлука.
 Но не было изгнания подлей,
 как песнопевца не было прекрасней!

Когда я созидаю на века,
 подняв рукой камнедробильный молот,
 тот молот об одном лишь счастье молит,
 чтобы моя не дрогнула рука.

Так молот Господа наверняка
 мир создавал при взмахе гневных молний.
 В Гармонию им Хаос перемолот.
 Он праотец земного молотка.

Чем выше поднят молот в небеса,
 тем глубже он врубается в земное,
 становится скульптурой и дворцом.

Мы в творчестве выходим из себя.
 И это называется душою.
 Я — молот, направляемый Творцом.

Все на свете русские бревна,
что на избы венцовые пиля,
были по три сажени — ровно
миллионная доля Земли.

Непонятно, чего это ради
мужик в Вологде или Твери
чуял сердцем миллионную радиуса
необъятно всеобщей Земли?

И кремлевский собор Благовещенья,
и жемчужина на Нерли
сохраняли — мужчина и женщина —
две миллионные доли Земли.

И как брат их березовых родни,
генерален на тот же размер,
Парфенона дорический ордер
в высоту шесть саженей имел.

Научитесь у них, умиленно-
насторальные кустари,
соразмерности с миллионной
человечески общей Земли.

Ломоносовскому проспекту
не для моды ведь зодчий Москвы
те шестьсот тридцать семь сантиметров
дал как модуль красоты и любви.

Дай, судьба, мне пелегкую долю,
испытанья любые пошли —
болью быть и миллионною долей
и моей и всеобщей Земли!

Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе.
Меньшого потеряли брата —
всенародного Володю.

Остались улицы Высоцкого,
осталось племя в «леви-страус»,
от Черного и до Охотского
страна песпетая осталась.

Вокруг тебя за свежим дерном
растет толпа вечноживая.
Ты так хотел, чтоб не актером —
чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково
могила вырыта вакантная.
Покрыла Гамлета таганского
землей есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...
Все, что осталось от Высоцкого,
магнитофонной расфасовкою
уносят, как биты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкою,
любовь российская и рана.
Ты в черной рамке не уместисься.
Тесны тебе людские рамки.

С какою страшной перегрузкой
ты пел Хлоушу и Шекспира —
ты говорил о нашем, русском,
так, что щемило и щемило!

Писцы останутся писцами
в бумагах тленных и мелованных.
Певцы останутся певцами
в народном вздохе миллионном...

* * *

Наверно, ты скоро забудешь,
что жил ты на краткой земле.
Историю не разбудит
оборванный крик шапсонье.

Несут тебе свечки по хляби.
И дождик их тушит, стуча,
на каждую свечку — по капле,
на каждую каплю — свеча.

Сереза — опоздали лекари!
Сереза — не закуришь «Виштона»,
смущающийся до корректности,
служитель муз без раболепия...
Еще во вторник, кукарекая,
я сквозь окно тебя высвистывал
в живые заросли ветвистые
из заседанья редколлегии!

Да что слова! Одна софистика...
Такая чистота раздавлена.
Бессильны заклипанья «чайников».
И нет ни Бога и ни дьявола,
и есть Всемирная Случайность.

Чего уж, все одно — не выживешь,
Летучей Вечности товарищ.
Из этой мглы тебя не вызовешь.
Лишь ты почками вызываешь.

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,
над черною астрой с прическою «афро»,
что в баре уснула, повиснув на друге,
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нес ее, спящую, в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилось и темпело
палитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,
целую плечо твое в мокром батисте.
Отдай мне свое естество откровенно,
освободись же, освободись же

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,
от жизни, промчавшейся и неминучей,
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,
тебя омываю, как детство и роды,
ты, может, единственное естественное —
поступок свободы и воды заботы,

в колечках прически вода западает,
как в черных оправках напрасные липзы,
подарок мой лишний, напрасный подарок,
освободись же, освободись же,

освободи мои годы от скверны,
что пугающей, чем животная жижка,
в клоаке подземной, спящей царевной,
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами поплыми с лестницы.
И не было тела светлей и роднее,
чем эта под кран наклоненная шея
с прилившим мерцающим полумесяцем.

Лягу павзничь — или это нервы?
От земного сильного огня
тепь моя, отброшенная в небо,
наклонившись, смотрит на меня.

Молодая черная береза!
Видно, в Новой Англии росла.
И ее излюбленная поза —
наклоняться и глядеть в глаза.

Холмам Нового Иерусалима
холмы Новой Англии близки.
Белыми церковками над ними
память завязала узелки.

В черную березовую рощу
заходил я ровно год назад
и с одной, отбившейся от прочих,
говорил — и вот вам результат.

Что сказал? «Небесная бесовка,
вам привет от северных сестер...»
По она спокойно и бессонно,
не ответив, падо мной растет.

У края поля, в непроглядном веке
ты прислонилась к темному стволу,
как белая струна натянута на деку.
Ты чувствуешь, что рядом я стою.

Я не стреножил жизнь твою и волю,
у алтаря не брал руки твоей.
Пас обручило дышащее поле
и твой алтарь дыхательных путей.

Не станет нас. Ты белое относишь.
Относишь жизнь угрюгую и стать.
Но ты была струной горячего озноба.
Над полем будешь продолжать дрожать.

Пел Твардовский в ночной Флоренции,
как поют за рекой в орешнике,
без искусственности малейшей
на Смоленщине,

и обычно надменно-белая
маска «классика и скопца»
покатилась
над гобеленами,
просветленная, как слеза,

и портье внизу, удивляясь,
узнавали в папаве том
лебединого Модильяни
и рублевский изгиб мадонн,

не понять им, что страшным ликом,
в модернистских трюмо отсвечивая,
приземлилась меж нас Великая
Отечественная,

она села тревожной птицей,
и, уставясь в ее глазницы,
понимает один из нас,
что поет он последний раз.

И примолкла вдруг переводчица.
Как за Волгой ждут перевозчика,
и глаза у нее горят,
как пожары на Жигулях.

Ты о чем, Ирина-рябина,
поспшь?
Россию твою любимую
терзает войша и ложь...

Ох, женские эти судьбы,
охваченные войной,
ничьим судам не подсудные,
с углями под золой.

Легко ль болтать про де Сантиса,
когда через все лицо
выпрыгивающая десантница
зубами берет кольцо!

Ревнуя к мужчинам липовым,
висит над тобой, как зов,
первая твоя Великая
Отчественная Любовь,

прости мне мою недоверчивость...
Но черт тебя разберет,
когда походочкой верченой
дамочка
идет,

у вилл каблучком колотит,
но в солнечные очки
водой
в горящих
колодцах
мерцают ее зрачки!

Скоро сорок шестая година,
как вы съездили с речью в Париж.
Пастернаковская рябина,
над всемирной могилой горишь.

Поезд шел по Варшавам, Берлинам.
Обернулась Марина назад.
«Россия моя, лучина...»
А могла бы рябиной назвать.

Ваша речь не спасла от лавины.
Впрочем, это еще вопрос.
Примороженную рябицу
я по ягодке каждому вез.

И когда по своим лабиринтам
разбреемся в разрозненный быт,
переделкинская рябина
нас, как бусы, соединит.

Друг мой, настала пора невезения,
глядь, невезуха,
за занавесками бумазейпыми —
глухо.

Были бы битвы, злобные гении,
был бы Везувий —
нет, вазелинное невезение,
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка,
губят фальстарты —
не ожидать же год на карачках,
сам себе статуя.

Видно, эпоха черного юмора,
серого эха.
Не обижаюсь. И не подумаю.
Дохну от смеха.

Ходит по дому мое невезение,
в патлах, по степке.
Пу полетала бы, что ли, на венике,
вытаращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение,
что ты из смирной,
бросив людские углы и семейные,
стала всемирной?

Что за такая в сердце разруха,
мстящая людям?
Я не покину тебя, невезуха.
В людях побудем.

Вдруг я увижу, как ты красива!
Как ты взглянула,
косу завязывая резинкой
вместо микстуры...

Как хорошо среди благополучных!
Только там тесно.
Как хороши у людей невезучих
тихие песни!

Обнаглели духовные громилы!
На фургон с Цветаевой совершен палет.
Дали кляп шоферу — чтоб не декламировал.
Драгоценным рифмам настает черед.

Значит, наступают времена Петрарки,
когда в масках грабящие мужи
кареты перетряхивали за стихов тетрадки.
Масскультурники вышули поэжи.

Значит, настало время воспеть Лауру
и ждать,
что придет в пурпурном
подводном шлеме Дант.

Бандитами проводятся Дни культуры.
Угнал вагон Высоцкого какой-то дебютант.

Запирайте тиражи,
скоро будут грабежи!..

«Граждане,
давайте воровать и спекулировать,
и из нас появится Франсуа Вийон!
Он издаст трагичную «Избранную лирику».
Мы ее сворует и боданем».

Одному поэту проломил череп,
вытащили песни лесных полей,
и его застенчивый щеголовый щебет
гонит беззастенчивый сискулянт.

А другой сам продал голос свой таранный.
Он теперь без голоса — лишь хлюп из гланд.

Спекулянт бывает порой талантлив.
Но талант не может быть спекулянт.

Но если быть серьезным — Время ждет таланта.
Пригубляйте чашу с молодым вином.
Тьма аквалангистов, но нету Данта.
Большинство ворует —
но где Вийоп?

Забастовка стриптиза

Стриптиз бастует! Стриптиз бастует!
Над мостовыми канкан лютует.

Грядут бастующие — в тулупах, джинсах.
«Черта в ступе!
Не обнажимся!»

Эксплуататоров теснят, отбрехиваясь.
Что там блеснуло?
Держи штрейкбрехершу!

Под паранджою чипарь запаливают,
а та на рожу чулок напяливает.

Ку-ку, трудящиеся эстрады!
Вот ветеранка в облезлом страусе,
едва за тридцать — в тираж пора:
«Ура, сестрички,
качем права!

Соцстрахование, процент с овец
и пенсий ранних — как в авиации...»

«А производственные простуды?»
Стриптиз бастует.
«А факты творческого зажима?
Не обнажимся!»

Полчеловечества вопит рыдания:
«Не обнажимся.
Мы — солидарные!»

Полы зашивши
(«Не обнажимся!»)

в пальто к супругу
жена ложится.

Лежит, стервоза,
и издевается:
«Мол, кошки тоже
не раздеваются...»

А оперируемая санитару:
«Сквозь платье режьте — я солидарна!»
«Мы не позируем», —
вопят модели.

*«Пойдем позырим,
на Венеру надели
ситенький халатик в горошек,
с коротенькими рукавами!..»
Мир юркнул в раковину.
Бабочки, сложив крылышки, бешено
заматывались в куколки.
Церковный догматик заклеивал тряпочками
нагие чресла Сикстинской капеллы,
штопором он пытался
вытащить пуп из микеланджеловского
Адама.
Первому человеку пуп не положен!*

Весна бастует. Бастуют завязи.
Спустился четкий железный занавес.
Бастует истина.
Нагая издавна,
она не издапа, а если издапа,
то в ста обложках под фразой фиговой —
попробуй выковырь!

Земля покрыта асфальтом города.
Мир хочет голого, голого, голого.
У мира дьявольский аппетит.
Стриптиз бастует. Он победит!

В географическом центре Евразии
постмодернистские акробаты,
три гимназиста вольной
гимназии
меня вытащили из кровати.

Мысли кидали. Перешли к бегу,
слушаясь нуля.
Кинули смысл двадцать первому веку.
Мы подождали. Пас не вернулся.
Пусть я разбитый перед разминкой,
пуст.

Куст прошептал мне, задетый,
жасминовый:
«Я — Пруст».
Мысли, рожденные без цензуры,
перешли на водные процедуры.

От Хабаровска и до Таллина
бутылок кеглями шоссе уставлено.

Ставьте звуки на ширину речи.
Против литературы ведется
политика геноцида.
Приняли рифму с подачи
предтечи
три перастрелянных гимназиста.

Пусть вам минует убийство
помазанника,
пусть ваше зренье не запоится.
Но тишина Гёфсиманской
Гимназии
вас не минует, мои гимназисты.

Барнаульская булла

I

15 марта
меня выбрали в Папы российского авангарда.

Почему в Барнауле?
а то б пырнули.

Мои буколики
вызывают колики.

Благословляю черные квадраты
Госагропромавангарда!

Белые квадраты, разорванные над Гималаями,
благословляю.

Благословляю театр Абсурда
от Марса и досюда.

Благословляю кота-отказника
есть наши заказы к празднику.

Моя паства
съела всю зубную пасту.

Моих избирателей
из Барнаула и Бурятии
не пустил в гостиницу сторожевой пост.

Колокол, по ком?
Благословляю великий хвост
за треугольным молоком.

Дырбулщил!
Д-р Булшит.

Народ прошел тайный кубизм
избирательных кабин.

Выборы, выборы!
Пол-обкомов выбили.

Девушка, вы — Барнаул?
Это выборы на ул.

Барнаул! Караул!
Где кассет порнобаул?!
Бл. Августин
у вас бы не загрустил.

А м и н ь ,
барнаульская тюремная арка,
собирательница первого авангарда.
Толстого 28.
Амен-нема

II

На каждом кирпиче вцарапаны имена,
полусъеденные грибком
и заиндевелым ворсом.
Колокол, по ком?
Каин, где брат твой Авель?
Где Вацлав Гавел?!

Сказанное вчера по Голосу, а нынче госсоловьями — благо-
словляю.

Не возите в воронках
барнаульский авангард.

Достоевский здесь стал эпилептиком,
— пет на Рихтера билетика?

Арьергард? Бабьягад?
Лвавакум? Афонград?
Огонек? Молодогвард?
Дух по форме — авангард,
как свидетельствует граф
(о. Сергей б. кавалергард):
«Красный, белый, квадратный, раздирающий душу...»

Сколько барнаульских роз!
Гипноз.
Осапна!

Летят не сани,
а японские «ниссаны».

Выборные листовки читайте сами

ПЕРЕСТРОЙКА
ПАСТЕР...ЕРОЙ
ПАСТЕРНАК
ГЕРОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ

Иду на вы!
череп свой вымой и выпари.
Иду на выборы!

Вышли к Жениху
художник и Женаху.
Отказали с маху
художник и Женаху.

АВАНГАРД
АНГАРВАД
ДАРГАВНА
АГААНДРВ
АГРАГРАД
ДВАРАНГА

Я сидел в моей избирательной компании.
Ира корейнка
мелькала, как палочка Караяна,
со взглядом, настоящим на корне золотом.

Потом
дев обидчик
захлопывал балконы, как коробки спичек.
И прикуривал от соска.
Другой писал «Спартак» и «ЦСКА».

Пой, слепой,
надежду, что ты один видел!

Тут я вспомнил про свой титул,
надел на голову табуретку
и пошел пожками по потолку.
Ку-ку!

Благословляю ваш бунт и поит,
и огонь бородки а-ля Бальмонт.

Властей терпимость благословляю.
В вас проступают Гималаи.

«Пускай про вас мелют
хр их знает что —
к вам Рерих
шел по струящемуся плато».

Барнаульский авангард,
в вас — духовный предугад.

Ладой мирового духа
благослови меня, Белуха¹

Паранойей моих булл
выбираю Барнаул.

По предчувствиям моим,
Барнаул — четвертый Рим.

Аминь.

Пятому не бывать.

¹Белуха — существо,
прикидывающееся вершиной,
под ней свершится
ключительный бой
между Светом и Тьмой.

Сон.
В наш ЖЭК
вошли Брук
и Джек
Никольсон.
Ни брюк. Ни кальсон.
Ни ног. Ни рук.
Лишь две души.
Поглядели на бюст с никелированным лицом.
И ушли.
Сон.
Но я потрясен.

* * *

Я снова в детстве погостил,
где разоренный монастырь
стоит как вскинутый костыль.

Мы знали, как живет змея
и пионерожатая, —
лесные бесы бытия!

Мы лакомством считали жмых,
гранаты крали для шутих,
посами шмыг — и в пруд бултых!..

И ловит новая орда
мою монетку из пруда,
чтоб не вернуться мне сюда.

Песенка травести из спектакля «Антимиры»

Стоял Январь, не то Февраль,
какой-то чертовый Зимарь.

Я помню только голосок,
над красным ротиком — парок

и песенку:

«Летят вдали
красные осенбри,

но если паземь упадут,
их человолки загрызут...»

Щипок

А. Тарковскому

Блатные москворецкие дворы,
не ведали вы, наши Вифлеемы,
что выбивали матери ковры
плетеной олимпийской эмблемой.

Не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что, вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безонаской.

Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса —
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шел со шпигитою жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров,
но мы придем — коль свистнут за подмогой...
Давно заасфальтировали двор
и первое свиданье за помойкой.

Стоит белый свитер в воротах.
Тринадцатилетний Андрей.
Бей, урка дворовый,
бутцей ворованной,
по белому свитеру
бей —

по интеллигентской породе!

В одни ворота игра.
За то, что папаялился белой вороной
в мазутную грязь двора.

Бей белые свитера!

Мазила!
За то, что мазила, бей!
Пускай простирала Джульетта Мазина.
Сдай свитер
в абстрактный музей.

Бей, детство двора,
за домашнюю рвотину,
что с детства твой свет погорел,
за то, что ты знаешь
широкую родину
по ласкам блатных лагерей.

Бей щеткой, бей пыром,
бей хором, бей миром
всех «хоров» и «отлов» зубрил,
бей по непонятному ориентиру.
Не гол — человека забил,
за то, что дороги в стране развезло,
что в пьяном зачат грехе,
что, мяч ожидая,
вратарь пазло
стоит к тебе буквой «х».

С великою темью смею поединок.
 Но белое пятнышко,
 муть,
 бросается в ноги,
 с усталых ботинок
 всю грязь принимая на грудь.

*Передо мной блеснуло азартной фиксой потное лицо Шки.
 Дело шло к фишалу.*

Подожвы двор вытер о белый свитер.
 — Андрюха! Борьба за тебя.
 — Ты был к нам жестокий,
 не стал нестеркой,
 не дал нам забыть себя.

Да вы же убьете его, суки!

Темнеет, темнеет окрест.
 И бывшие белые ноги и руки
 летят, как андреевский крест.

*Да они и правда убьют его! Я переглянулся с корешом — тот
 понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть пере-
 улка, под грузовики. Мячик выпускает дух. Совсем стемнело.*

Когда уходил он,
 зажавши каптель,
 двор понял, какой он большой.
 Он шел,
 обернувшись к темени пашей
 незаятнанной белой спиной.

Андрюша, в Париже ты вспомнишь
 ту жижу
 в поспешной могиле чужой.
 Ты вспомнишь не урок — Щипок-переулоч.
 А вдруг прилетишь домой?

Прости, если поздно. Лежи, если рано.
 Не знаем твоих тревог.
 Пока ж над страной трепещут экраны,
 как распятый твой свитерок.

Тебе на локоть села стрекоза
и крыльями перебирает, —
как будто кожи близорукие глаза
спокойно стекла примеряют.

На левосторонних трассах,
на путях правосторонних,
на путях потусторонних,
там, где аксиома власти
машет огненной палкой,
в аксиомах «влево», «вправо»
жизнь я прожил не без риска.
Есть единственная правда —
аксиома самонеска.

Умирая, мне татарин,
высланный из Сименза,
впившись в полумесяц миски
алюминиевой, в замызге
подарил это заклятье.

Но сказал: «Не будешь счастлив».

Это пишут на вершинах
снежный человек и Ницше,
на левосторонних книгах,
на правосторонних книгах,
на броске самоубийства,
на самопознание наций
и на аксиоме Бога,
на губах авантюристки —
аксиома самонеска.

Но распятые ладони
аксиомы человека
путь указывали людям
то ли — влево, то ли — вправо...

Я искал на перекрестке
трассы духа с трассой Мишской.

Слезничок сверкал лиловый
жепципы самофракийской —
с крыльями, но безголовой.

В небе, как над рестораном,
букв горел порядок страшный,
и в глазах сырые искры
я читал наоборотно:

А
К
С
И
О
М
А

С
А
М
О
И
С
К
А

И она сказала: «Кисик!
Современная мадопша
опровергла аксиомы
постбрижитбардовских сисек.
Что считалось аксиомой
группы повышенного риска,
стало пормой в каждом доме
и в поменклатурных списках.

На любви односторонней,
на любви наоборотной,
и на голубом пороке,
и на ненависти белой,
и на золотой разлуке
лишь — не высказать без виски! —
аксиома самонска».

И сказал идущий мимо
в маскировочных болотах
с трупом музыки в футляре:
«Что написано на майках?
Что написано на лейблах
наших лейблгвардейских задниц?
Что написано на бунте
в стиле рока или диско?
Преодолевайте дисгармонию,
как учит Дэнга».
В каждом самодоказуема
и законом наказуема —
чур, не путать с самосыском! —
аксиома самоиска.

Мухой полз Буонарроти,
крася на плафоне Сикста
Рай и Ад наоборотный —
аксиому самоиска.

Жил я в аксиоме Рай,
чуя аксиому Ада,
жизнью, а не самопиской,
и потерей самых близких
оборачивалась паша
аксиома самоиска.
Как я поздно слишком понял —
утаил татарин с миской —
смысл не только в самопоиске,
а к себе открытому иске!

Прости господи стояла
у машинного потока,
морща лобик новой мыслью.
Хмурио взглядывалась в диски.
Замирала вместо лейбла
изумрудная стрекозка
на малиновой скуле.

Прости господи, машины,
прости господи, летели.
Что ты в них искала? Прынца

в «Волге» паны? Или пану
с пачкой зелени искала?
Почему не подошел я?
С полчаса ты столбенела
в напряженье. Вдруг, зажмурясь —
мол, ищите меня в волгах! —
молча бросилась под тачку.
Среди тормозного визга
я ее не видел дрызга.
Прости, Господи, таксиста!
Срок мотать за проститутку?!
Прости, Господи, эпоху.
Прости, Господи, страну.

Голова в крови скакала
по шоссе, сверкнув стрекозкой.
Что кричал открытый ротик
рядом с отскочившим диском?

Ни молитвы. Ни записки.
Прости, Господи, тебя.
Изумрудная стрекозка
рядом в воздухе стоит.

Прокрути обратно, Дэнга!
Выпрыгни, скула, к стрекозке!
За ней — лобик, за ним — тело.
Встань с асфальта!

Дыши. Брысь в гараж, машина!
Жизнь, крути обратно диски!
«Как зовут тебя?» — «Лариска.
Долго же я на игле торчала...»

Жизнь — лишь поиск воскресенья.

Мы стоим на перекрестке
трассы духа с трассой Минской —
вгиковский студент. Стрекозка.
Тени. Женщина с заминкой
в речи. Пес с ухом Мефисто.
И татарни смензский.
Ужас от нережитого,

духа грязные поминки —
 оглянись — полно народу.
 Все глядели в небо.

Где горит, как над воротами
 перед выходом по списку, —
 жизни крест наоборотный

А
 К
 С
 И
 О
 М
 А
 АКСИОМА САМОИСКА
 А
 М
 О
 И
 С
 К
 А

Мозг умирает. Душа-эмигрантка
быстро, как женщина, венцы свои соберет.
Разум умрет. Но истишкты
тело за час покидают, как крысы бегут с корабля.
Страхи ютятся в обоях настенных,
пузырься газетой под ними.
Подлянка в сад улизнет.
Это не бесы в лесу — бессонное подсознание.
Зависть ползет,
тщеславие свищет на ветках.
Похоть охотится в балке. Тоска
в ряске болотной живет,
норовит заразить простодушную крякву
или волка с паруженной иммунной системой.
Плачут скипальцы, темнят.
Вот почему так агрессивны погоды.
Бойтесь ходить по грибы.

В ком же ты жил? Что за грешника мучил?
Красный, белый, квадратный, раздирающий душу!
Синий, виштообразный, засасывающий виной?
Желтый, сферический, как противотуманная фара,
съедающий белое Дух?

Это я понял, когда умирал Виктор Платонович.
В кухню петух безголовый вбежал
и рассвет прокричал.

На что похожа заточимая
во Мцхете острая душа?
На карандашную точилку
для Божьего карандаша.

То паконечники-верхушки
вздымались, головы кружа.
И реки уносили стружки
нездешнего карандаша.

Не тот ли карандаш всевышний
чертой отметил дорогой
след самолета, ветку вишни
и рукописный городок?

Какою любящею линией
очерчен поднебесный сад,
где ночью распускалась лилия —
как в стойке делала шагат?

На радость это или гибель?
Бог это или просто так?
Но краска стертая и грифель
внутри остались на стечах.

И мне от Грузии не надо
никих наград, чем эта блажь, —
чтоб заточала с небом рядом
и заточила карандаш.

Кобыла на скачках в Лыхны
сбросила седока.
Сказала: «Товарищ, дрыхни! Пока».
И возглавила неслыханные
бега.

Толпе свело носопырки.
Одна четыре витка
несется эмансипированная
лошадь без седока.

Оказывается, на дистанции
можно без мужика.
Какой тебе приз достанется,
Ротшильд без кошелька?

Серая, серая, серая,
яблоками бока,
второго обходишь, первого,
победа без седока!

Прилипли к задку полетному
сквозь смазанные времена
ганжетками от пулемета
прижатые стремяна!

Да ну вас с вашим бензином
и термоядерной мощностью.
Живет не овсом единым
лошадь!

Серая, серая, серая,
яблоками бока,
крути безумную серию:
«Лошадь без седока!»

Летит кровать без любовников,
бежит без баржи река,
«Война и мир» без Хамовников,
голод без едока.

Песется мысль без мыслителя,
и лермонтовская тоска,
поручиком не насытившись,
мчится без седока.

Кому это, дура, нужно?
Тебя стреножат в кошушне.
И приза тебе не дали.
Но это детали.

Уже перевал с Казбеком.
Оседланный побом круп...
Природа без человека
делает первый круг.

Серая, серая, серая
над крепостью и ДК
улыбочкою ощеренной
взвиваешься в облака.

Глядите! Уже над Африкой
лошадь без седока.
Летят ароматные яблоки
па головы и века.

Я только запомнил Лыху
и как вслед пошел вертолет.
И измученную твою улыбку,
какой никто не поймет.

Верните мне мою лошадь!
Верните мне времена!
Тебя в небесах стреножат.
Кто вскочит в те стремяна?

Собака

Р. Паулсу

Каждый вечер въезжала машина,
тормозила у гаража.
Под колеса бросалась псица
от восторга визжа.

И мужчина, источник света,
пах бензином и лаской рук.
И машина — друг человека,
и собака, конечно, друг.

Как любила она машину!
Как сияли твои глаза!
Как твою золотую спину
озаряло у гаража!

Но вторую уже неделю
не въезжает во двор мотор.
Лишь собачьи глаза глядели,
изнывая, через забор.

Свет знакомый по трассе несея.
И собака что было сил
с визгом бросилась под колеса,
но шофер не притормозил.

В доме охоты — гости, рога.
Смотрит сиросонок
солпечным зайчиком сентября
лыпяноголовый сып лесника —
поздний ребенок.

Крестится гирей отец-богатырь.
В сбруе походной
мать. А в лесах совершается тир,
хохот охоты.

Лес, погляди на осенних гостей!
Мы, каждый третий —
поздние дети свободы своей,
поздние дети!

Плечи откинуты в снайках
поздних прикладов.
Ранние судьбы свистят в небесах
красной расплаты.

Поздние шубки наших подруг,
позднее счастье,
поздние промахи наших подлюг,
пошлые страсти.

Мы победили. Не пропадем.
Мы не бездарны.
Но опоздали в главном своем —
жить опоздали!

Как прошумело над озерком!
Боже, как низко...

Прыгают в озеро кверху дымком
поздние гильзы.

Больше чем дети зная в себе,
мальчик смеется.

Как виноватое, в сентябре
ласково солнце.

Миграция ворон! Миграция ворон!
Несется в небесах шоссе из черных «Волг».
Базарчик разорен. Пуст в Ховрине перрон.
Электропоезд встал и в темноте заглох.

Когтей невпроворот. Детей надо беречь!
О чем ты каркаешь над нами, серый смерч?
То, может, бюрократ, неизмерим числом,
несется из хором, ненастьями сметен?

Они меняют курс. Сломался ход природ.
Куда несешься, мрак? На Керчь или Покров?
Ты помнишь — крот в пещере, плетя переворот,
направил на Москву миграцию ворон?

А может, графоман несется напролом?
Вся улица Воровского усыпана пером.
Над нами небеса кричали в мегафон:
«Следите за детьми! Миграция ворон».

Ты с дочкою своей в коляске шла двором.
Ее ты от небес прикрыла животом.
И по твоей спине, содравши кожи ком,
промчалась бороной миграция ворон.

Когда-нибудь на пляж ты с ней придешь вдвоем.
Проступит сквозь загар узор нных времен.
И на ее вопрос ты лишь пожмешь плечом:
«Как жаль, несчастных птиц! Миграция ворон».

Как маляк,
я залезаю на старый маяк.

Выхожу
на площадку вокруг фонаря.
В спину бьет жара. Снизу прет мошкара.

На два клуба тумана и рой комарья
тень моя падает от фонаря.

Голова
на тумане шевелится, как мутант.
В голове моей страшный туман!

От фонаря мои светлые планы.
От фонаря моя шаткая жизнь.

От фонаря, как летучий гранит,
тень моя плотно на духе лежит.

На подсознание моря
и леса,
Бога и беса,
на твоём снизу закинутом взоре.

Ах, полосатая палка Бога,
дубинка горящая, где дорога?

Ветарь ты, фонарь,
завывал сквозь туман,
воём спасая судов караван.
Пеленг сегодня сподручней умам.

По по водам
за леса и моря
тень моя движется от фонаря.

Сонет

Регтайм

сна нет
спать спать спать
сон стек с нят
сон снть Спас
спит скит
спит стыд
клоп куснул
и уснул
Бог спит
спать спать спать
телефон опять
— общепит?
— б....!
блядь?
телефон
137-18-25
— ты, мой сон?
так-с...
три, два, ать!
кроссовки «SPEED»
такси!
«МИД»
«ТАСС»
— мать спит
тес...
спать спать
ты — мой сон
экстаз
спать спать...
телефон
— общепит?
— б....!
— блядь?!
— так-с!..

три, два, ать.
кроссовки «SPEED»
— такси!
«ТАСС»
«МИД»
спать спать спать
телефон
общепит?
сна нет

ты — мой сон
сна нет

Три синих

Прощайте, три тома!
Вы синими родились.
Прощайте, три дома —
Жизнь — Смерть — Высь.

Бог, видно, пропляпил —
на вас ледерин не усек,
одел вас в оставшийся штапель,
ошибочной сипи клочок!

Прощайте, три сипих!
Кого я на вас подпишу?
Ненереносимо,
что кто-то идет к стеллажу.

Спустя сто лет точно
возьмет гениальный сопляк,
сверкнув голубою пощечиной,
надписанный мной экземпляр...

Ты знаешь лишь черное небо,
космические корабли.
Возьми его в сипих брикетах,
как я его видел с Земли.

Потомок, возьми три тома
земных падежд и потерь,
осыпавшемуся золотому
не верь. Только сипему верь.

Пацан, в наших днях открытых
найди свою мерку крыл,
как в лермонтовской палитре
Врубель себя открыл.

Я жил во всяких трясипах,
но небо я синим знал.
Прощайте, три синих!
Кто тройкой Россию назвал?

Зачем-то ведь Бог прошляпил,
одну звезду не учел —
одел ее в зрячий штапель,
такой одинокий зрачок.

Вы нас обогнали, сирых,
на телеэлементах гальюп.
Поют ли вам Сирии,
Алконост, Гамаюн?

Когда ты их вынешь с полки,
то щелка небытия
откроется ровно на столько,
что жизнь занимала моя.

Куда вы, томы, девались?
Не дрейфь. Ты ищешь не тут.
Три синие «адидаса»
Москвой-рекою бегут.

Мужик, пробежимся с ними?
И что означает синь?
Я думаю — это Жизнь.

Живите, три синих!

Поднял глаза я в поисках истины,
заслонили составы товарные.
На них твоим почерком было написано:
«Не оставляй меня».

Я оглянулся на леса залысины —
что за привычка эпистолярная?
«Не оставляй меня, — было написано
поперек неба, — не оставляй меня».

«Не оставляй», — из окошек лабали.
Как край полосатый авиаоткрытки,
мелко дрожал слабоумный плагбаум:
«Не оставляй...» Было все перекрыто.

Я узнаю твою руку заранее.
Я побежал за вагоном выхляпием.
Мимо платформы «Не оставляй меня»
плыли составы «Не оставляй меня».

У женщины кошка пропала,
как если пропало дитя.
С работы она приходит,
все смотрит налево, направо.

Подумаешь, кошка, делов-то!
В дому нелюдимая мгла.
Ждала, за подругу была.
Кому-нибудь скажешь — неловко.

Бывало, хозяйка болеет,
а кошка — у ней на груди.
Из лап кренделек впереди.
В ночи ее грудка белес.

Хорошим была домочадцем.
И надо привыкнуть и жить.
Попробовать свет не тушить,
чтоб в темень не возвращаться.

Сейчас она двери запрет,
поставит у двери кошелку.
И не раздеваясь, ревет —
как будто рыдает о кошке.

Заслышу ль рифму в перелеске —
задумываюсь о тебе.
Мои рифленные рефлексy
остались на твоей тропе.
Я покидал тебя банально,
как и достоин сильный пол —
«взяв только плащ и гениальность»,
ушел.
Но к давнему и дорогому
оставив тайные ключи,
когда тебя не будет дома,
один наведуясь в ночи.

* * *

Я вернусь, когда в город уйденъ,
и уткнусь в твой плащок на ватине.
И пойму, что шел с вечера дождь
и что из дому ты выходила.

Выбегала с крыльца до ворот,
возвращалась поцуро к крылечку.
Хорошо, когда любит и ждет,
но от этого только не легче.

* * *

Просто — наше шоссе и шиповник.
Дождь из облачка невпопад.
Как подошвы чьих-то шиповок,
лужи гвоздиками торчат.

Я всему говорю спасибо —
непосильного счастья боль,
непосильное небо синее,
непосильна земная соль.

Цвет новомировский,
с ответом в хмарь —
неба датированный
почтарь!

В ящик прогляпет
неба прищур
этих без глянца
синих брошюр.

Метростарушка,
в лифте чудак
побом наружу
станут читать.

Не изменились,
не отцвели,
цвет новомировский, —
читатели!

Цвет новомировский,
авторов цвет...
Жизни нормированы.
Многих уж нет.

Все по России
носит почтарь
порции синего
с ответом в хмарь.

Интеллигенция
встанет моя,
зябнув коленцами
после снапя.

Синей обложкой
внутри завернет,
будто из неба
сложив бутерброд.

В спешке кухонной
станем с тобой
пищей духовной,
пищей богов.

Вызывайте ненависть на себя почаще,
пусть кому-то нежному достанется счастье.

Под прицелом снайпера закурите «Мальборо»
и четверостишие напишите набело.

Вызывайте ненависть тем, что выживаете.
Пусть прицелы пляшущие скажут — вы из ваты.

И скажите с нежностью снайперу всемирному:
«Расстрелял всю ненависть?
Тебе легче, милый?»

10

Что за смысл летит над всем,
убывающий код цифр?
Десять, девять, восемь, семь...
Старт? Взрыв?

9

Вспять летящий Вифлсем?
Убыванье чувств живых?
Десять, девять, восемь, семь —
старт, взрыв?

8

Десять, девять, восемь, семь...
Аптитсчетчик побежал.
Форман, Пушкин, Будца, Зен.
Скоро ль время обезьян?

7

Сталин. Петр. Наоборот
счетчик сброшенный такси.
Остается только год
до Крещения Руси.

6

Кто из «Облака в штанах»
старомодно простопал:
«Восемь, девять, десять?» Счет:
«Десять, девять, восемь». Влет.

5

Строит храмы Горастрат.
Ницше говорит: «Бог жив!»

В ком из нас таится старт?
В ком из нас таится взрыв?

4

Хатха-йога. Седуксен.
В мире писем нет совсем.
Только «Гёте — Эккерман»
и «Астафьев — Эйдельман».

3

И пещется страшным зевом
слово «если», слово «if» —
Теп, найн, эйт, севен,
десять, девять — старт? взрыв?

2

Жаль не только нас, теперь,
в шорах видеосистем.
Жалко маленьких детей,
кому девять, восемь, семь...

1

Запрещенных издаем.
От «Живаго» в сердце щемь.
Сколько там еще имен?
Десять... девять... восемь... семь.

0

Медленно, в буран борьбы,
близится свободы сень —
как дорожные столбы.
«10», «9», «8», «7»...

1

Для чего же Китти, Левин,
Маркс, Христос и Будда-зеп?
Теп, найн, эйт, севен...
Десять, девять, восемь, семь..

1987

АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ

Поэма

Архивные заметки

В 1958 году в стихотворении «Прадед», описывая Полисадова, я наивно знал лишь наше семейное предание о нем. Что я знал тогда?

Прадед

Ели — хмуры.

Щеки — розовы.

Мимо

Мурома

мчатся розвальни.

Везут из Грузии!

(Заложник царский.)

Юному узнику

горбятся

цаплей,

слушать про грузди,

про телочку яловую...

А в Грузии —

яблони...

(Яблонек завязь

гладит, маля.

Чья это зависть

глядит на меня?!)

Где-то в России

в иных временах,

очи расширя,

тощей монах

плачет и цепи нагрудные гладит...

Это мой прадед.

Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высокогорной красоты.

«Прапрапрадед твой — Андрей Полисадов, — писала мне мама, — был настоятелем одного из муромских монастырей, какого — не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли, как грузинского заложника, затем, кажется, он воспитывался в военной гимназии, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржач, все говорили: «Грузицы приехали...» Помню, как, шутливо пикирюясь с отцом, мать называла его «грузинский деспот».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользающую нить, я чувствовал себя «а-ля Андроников», только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом — поэте ли, историческом персонаже, — а речь шла о тебе, о твоём прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов, — Благовещенский муромский собор на Посаде, ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее, не примеченное никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с крапленными — «со слезой». Он всегда меняет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные и ненастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был иным. То был аметистовым, то отдавал в гранат, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-настроение. Или это безусловный цвет изменчивого времени?

Постепенно все прояснялось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки выслаанных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей был связан и с Грузией, и с Россией. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и первый распространил там христианство.

Летопись «Картлис цховреба», грузинская жемчужина, повествует, как он «перешел гору железного креста». Далее летописец прибавляет: «Есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем» (с. 42).

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре — «Повести временных лет»: «...въшедь на горы сия, благослови я, и постави кресть...» По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно по синий крест андреевского флага осенял моря империи.

Кстати, в «Повести временных лет» мы впервые встречаем письменное упоминание города Мурома и племени «мурома». Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны. Однако имя его таинственно изымается из печати. Даже в «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя Полисадова, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц.

У Брокгауза и Ефрона можно прочитать, что названный брат Полисадова Иоанн, с которым они были близки, стал известным проповедником в Исаакиевском соборе. Весь Петербург собирался на его проповеди. О нем же увлеченно пишет Ал. Бенуа в недавно изданных у нас мемуарах.

Андрей Полисадов был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в 30-е годы отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими — «птах» аукался с грузинским «прта», «тьма» (то есть десять тысяч) отзывалось «тма», «лар» — «ларец»... Суздальская речушка Кза — серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день пасхи на могилы здесь клали красные яйца и плескали вино — все возвращало к обычаям его края.

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголосном песнопении ностальгически слышалось ему эхо грузинских древних пародных хоров. «И, может быть, — думалось ему, — полифонные «ангелоподобные» хоры донеслись к нам не от

греков, чье пение унисонное, а от грузин, а к тем — от халдов?»

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям неугомонного Ивана Лаврова, который изобрел особый «гармонический звон в колокола», названный им с вызовом — «самозвоном», и взял фаната в свою обитель. И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, подалась в изучение археологии Кавказа. Неукротимый характер его сказался в решительной перестройке собора.

Несколько раз в своей рукописи Полисадов возвращается к арке, пробитой им в северной стене храма. И сейчас она поражает смелостью. Арка — в полстены, она напоминает распахнутые пропорции арки в Гелати. Эта решительная кривая выдавала в нем соотечественника будущих пространственных дерзаний Давида Какабадзе. Он пытался распахнуть, усовершенствовать свое заточение.

Да и назначение Полисадова в Муром было неслучайным. Муром в те времена был духовной целлой страны. При приближении Наполеона знаменитая Иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания «каждогодне 10-го сентября» происходил крестный ход от собора вокруг города. Иверская стала покровительницей Мурома. После возвращения Иверской в Москву в городе осталась живописная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Иверия — Грузия. Икона была привезена в 1652 году в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами Иоанном и Евсимием в конце X века. Живопись на ней грузинского письма. Впрочем понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных списков, темных мест и откровений... И что бы я мог без помощи моих добровольных спутников по поискам — владимирского археографа П. В. Копдаковой и москвича Б. Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора циничать, что по прошествии стольких поколений грузинская крупица во мне вряд ли значительна. Да и вообще не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

Родня моей матери жила во Владимирской области. К ним я приезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Когда дои-

ла, приговаривала ласковые слова. Ее сморщенные, как сушеный инжир, щеки лучились лаской. Родители ее были еще крепостными Милославских. Из хлева, соединенного с домом, было слышно, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. Так же дышали, казавшиеся живыми, бревенчатые стены и остывающая печь, в которой томились крипки с коричневой корочкой топленого молока. Золу заматали гусиным крылом. Сумерки дышали памятью крестьянского уклада, смешанного со щемлящим запахом провинции. Вносили керосиновую лампу. Перед ней, колыхаясь, бежали тени. Пад высоким стеклом струйкой дрожал нагретый воздух. Сладко дурманя, пахло нагаром фитиля. Мне, продукту многоэтажного города, это было уже чужим, но непонятно тянуло.

О ставни по-кошачьи терлась сирень.

И вот в старинном доме с вековыми резными ставнями, так похожими на бабушкины, муромский краевед — Александр Апатольевич Золотарев вдруг извлек из архива Добрышкина, хранителем которого он является, рукописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцветший почерк струился слегка женственными изысканными длинными завитками.

Было от чего оцепенеть!

Меня не оставляло ощущение, что в истории все закодировано и предопределено, не только в общих процессах, но и в отдельных особях, судьбах. Открывались скрытые от сознания связи. Опять было физическое ощущение себя как капилляра огромного тела, называемого историей. Есть поэтика истории. Есть созвездия совпадений.

Например, летом 1977 года, будучи в Якутии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой маячил мамонтенок, откопанный бульдозеристами тем же летом.

Оказывается, ровно сто лет назад, 18 июня 1877 года в Муроме, следуя церковь, построенную Бармой и Постником, будущими строителями Василия Блаженного, или, как теперь считают, постником Бармой, археолог граф А. С. Уваров раскопал останки мамонта, о чем во «Владимирских губернских ведомостях» за 26 августа 1877 года напечатал статью Добрышкин, в архиве которого я найду рукопись моего предка. История посылала сигналы. Все взаимосвязывалось. И связи эти — не книжный пачет, не умствующая кабалистика, не мистицизм, имя им — жизнь человеческая. Жизнь эта и есть поэзия.

Пролог

Взойдя на гору, основав державу,
я звал людскую славу и разор.
В чужих соборах мои копи ржали —
настало время возводить собор.

Немало в жизни видел я чудовищ.
Они пойдут на каменный узор.
Чтоб было где хранить потомкам овоц,
настало время возводить собор.

Меж правого и левого базара
я оставался все-таки собой.
В Архитектуре главное, пожалуй,
не выстроить, а выстрадать собор.

Начало будет в Муроме покамест,
Казбек от его звона задрожит.
Положен во главу лиловый камень.
Под этим камнем человек лежит.

«Ваш прах лежит второй за алтарем», —
сказал мне красевед Золотарев.

I

В лето семь тысячь шесть десят первом году Государь и Великий князь Иоанн Васильевич IV вся Русии приде во град Муром и молитесь в первоначальной церкви Благовещенья (деревянной), помощи прося со слезами: «Аще град Казань возьму, аз повелю здъ устроить храм каменный Благовещения». Государь Казань взял и того же году, в лето, прислал в Муром каменщиков.

«Житие Константина, Феодора и Михаила муромских чудотворцев» (древнерусская повесть XVI в., со списка, хранящегося в Муромском музее. к-7165, м.м.-30152)

...собор основан в 1555 г. близ берега Оки. Называлось же место это Посадом. В память пребывания в соборе в 1812 г.

Московской Иконы Иверской БМ установлено празднество ежегодно 10-го сентября.

Из описания А. Полисадова мая 31 дня 1887 г.

Кто ты родом, Андрей Полисадов?
Почему, безмянный заложник,
малолетнее чадо,
привезен во Владимир с Кавказа?
Значит, падо. В архивах не сказано.
(Шла война. Мятежи грозили.
И Царевич бежал к безбожникам!).

Его спешно усыновили,
дали имя: Андрей Полисадов.
Домом стал Собор на Посаде.
«Кто я?! Кто?!» — взвоят выросший ссыльный.
Утешает собор его: «Сын мой...»

II

«Господи, услышь меня, услышь мя, Господи!..»

На границе Горьковской и Владимирской области
я стою без голоса, в неволпо отдапный,
родина, услышь меня, услышь мя, родина!
Назови по имени, пошли горных коз пасти.
Ты ж сама без голоса. Услышь ее, Господи...»

И летят покойники и планеты по небу —
«кто-нибудь услышь меня, услышь мя кто-нибудь».
Я же твой ребенок, ты ж не злоумышленник.
Мало быть рожденным, важно быть услышанным.
Смыслы всех мятежников, взрывы современщины:
«Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина...»

«Это я, Господи! Услынь мя, Господи!» —
на углу Горького и Маяковского
ты кричишь мне, нищая, в телефонной хижине:
«Господи, услышь меня, Господи, услышь меня!»

И тебе история вторит фразой горскою:
«Господи, услышь меня, услышь мя, Господи...»

Полисадов Андрей (Алексей), год окончания 1834, по 1-му разряду, 5-му номеру, 1836 — свящ. с. Шиморского, 1866 — Москва, 1-го класса, Повопасский монастырь, 1882 — Благовещенский Муромский монастырь.

Малыцкый П. В. «История Владимирской Духовной семинарии» (выпуск 2-й)

С 1882 г. Благовещенский собор управлялся архимандритами (первым был Полисадов).

Трачатов П. В. «Город Муром и его достопримечательности» (Владимир, 1903)

Русифицированного мцыри
в семинарии учат на цырлах.
В восемьсот тридцать пятом женился.

Его ждал Собор на Посаде.
Темной мыслью белых фасадов
стал он. Плен не переменился
оттого, что купцы прикладывались
к кольцу с тоскливым акваарином.

Умер муромским архимандритом.
Отвлеклось родословное древо.
Его дочка, Мария Андреевна,
дочь имела, уже Вознесенскую,
мою бабу, по мужу земскую.
Тут семейная тайна зарыта.
Времена древо жизни ломали.
Шарил семинарист знаменитый —
в чьих анкетах архимандриты?
У нас в доме икон не держали,
но про деда рассказ повторяли.
И отец в большичных палатах
мне напомнил: «Андрей Полисадов».

Прибыл я в целомудренный Муром.
Город чужд экскурсантам и турам.
Шел июль. Сенокосы духмяные.

За Окою играли Тухманова.
 Шли русалочки со смешочками,
 огурцы уплетая сочные.
 По тропинке меж дикой малины
 поднималась к собору мешочница
 на горбу со своею могилой.

Там я встретил Золотарева.
 «Жду вас. Ваша могила готова.
 Ваше тело сто лет без надзора.
 Дело ваше! Я б начал с собора».

Мое тело меня беспокоит.
 В нем какой-то позыв беззаконный.

IV

Муром целомудренный. Пад Окой хрустальной
 поспидите тайно.

Не забаламутьте вечер отошедший.
 Читайте целомудренность отношений.

Не читайте почты, вам не адресованной,
 не спугните чувства вашего резонанса,

не стучите дворником в окна к ласкам утренним,
 все двоим дозволено — если целомудренно.

Эта целомудренность отношения
 по лесам кому-то говорит отшельничать,

там нельзя охотиться, там стоял Суворов,
 соловьи обходятся без суфлеров.

Мудрость коллективная хороша методом,
 но не консультируйте, как любить мне родину.

У любви нет опыта, нету прегрешения,
 только целомудренность отношения.

«Нет ли в рясах церковных старших омофоров, на-
косов, фелоней, спитрахилей, палиц, стихарей, орарей,
мантий и власяниц?» — «Нет. Кроме четырех княжеских
шапочек. Они малинового бархата, шты золотом и се-
ребром».

*Из рукописных ответов архимандрита
А. Полисадова на вопросник Академии
художеств мая 31 дня 1887 г.*

Сохранилась соборная опись.
Почерк в усиках впоградных
безмяшного узника повесть
заплетал на фасад и ограды.
«8 старых опор. 8 поздних.
Консультировал Барма и Постник»¹.
И ложился в архив синодальный
Муром с привкусом ципандали.

«Пол чугушный и пол деревянный,
называю вас, сам безмяшный!»
Византийские ризы распустили
птицы будущего Гуднашвили.
В этом перечислении скорбном,
где он шел золотую тюрьму,
я читал восхищенье соборам
и неясные счета к нему.

«Не имеются ль мощи изменников?
Сколько окон? Живая ль вода?»
«Не имеется.
Жизнь — одна».
«Матерь Иверская, икона,
эвакуированная от Наполеона,
мы судьбой с тобой схожи, товарка.
Так же будешь через столетье,
пяпча сына, глядеть в лихолетье
из проема в вагоне товарном».

Когда край мой с моей колокольни
возвещает печаль и успехи,
из второй моей родины, горной,

¹Ступенчатый трюм колокольни свидетельствует, что в Муроме работали Барма, Постник или кто-либо из членов их артели» (Вороп и Н. Н. Сборник работ. Л., 1929).

через час возвращается это.
Кто ты родом, костыль палисандровый?»
«Помолнсь за меня, Полисадов...»

«Я молюсь за царя Александра,
что когда-то лишил меня имени.
Тяготят теперь имя и сан его.
Хочет он безымянную схиму.
Спор решает душа, не топор».
«Да, отец», — отвечает собор.
Так толкуют в своем разладе
дух смиренный и дух злорадный:
«Погоди, Собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов».

Как сей час они сходны судьбою!
Человек, одинокий в соборе,
и собор, одинокий в истории,
и История — в мертвых просторах.
Завитую пожарскую чашу¹
оплетал виноград одичавший.
Завитком зацепилась усатым
подпись бледная: «Полисадов».

VI

Почему он бежать не пытался?
Не из страха ж или конвоя?
Полюбил он лес за Окою,
это поле с темным укором,
где тронишка — прямым пробором,
как у всех его прихожанок.
Полюбил он хмурую паству,
русых узников государства.
Утеная печалей толпы
в двух церквах, холодной и теплой,
разделенных стеной допотопной,
вдруг он понял, что в них нуждался,
в них он болышную боль увидел,
чем свою. И для них остался.

Ежедневно он шел к ограде,
в пояс кланяясь эху фасадов:

¹ Чаша водосвятная красной меди, под рукоятью вычеканены слова: «Лета 7147 июля 17-го сию чашу очищения приложил для Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Муроме на Посаде, Боярип Князь Дмитрий Михайлович Пожарскій» (из ответов А. Полисадова). Сейчас чаша эта экспонирована в Муромском музее. Полисадов ошибся: она из сплава олова.

«Добрый день, Собор на Посаде».
 «Добрый день, Андрей Полисадов».

Обмирала со свечкой школьница —
 глаза страшные, золотые...
 Это первое чувство молитвы!
 Он ее ощущал затылком.
 Он томился перед собором,
 золотым озаренный взором.
 Но когда совратитель исподволь
 прошептал ему что-то площадно,
 он избил его среди исповеди,
 сломал посох и крикнул: «Процаю!»
 После сутки лежал на плитах.
 Не шутите с архимаандритом.

VII

Подари мне милостыню, нищая Россия,
 далями холмистыми, полей непосильной.

Подвези из милости, грузовик бродячий,
 подари мне истину: бедные — богаче.

Хлебом или небом подарите милостыню,
 ну а если нету, то пошлите мысленно.

Те, над кем глумились, нынче стали истиной.
 Жизнь — подарок, милостыня. Раздавайте милостыню!

Когда ты одета лишь в запах сеновала,
 то щедрее это платьев Сен-Лорана.

VIII

В 1979 г. реставрированы интерьеры, колокольня пыле
 действующего Благовещенского собора.

Из ведомости

Реставраторы волосатые!
 Его дух вы стремитесь вызвать.
 Голубая тоска Полисадова
 в ваши пальцы въелась, как известь.

Эти стены — посмертная маска
с его жизни, его печали —
словно выпуклая азбука,
чтоб слепые ее читали.

Муромчанка с усменкой лисьей
мне пенсула, на свечку душув:
«Новый батюшка — из Тбилиси».
«Совпадение», — я подумал.
Это нашей семьи апокриф
реставрировался в реальность.
Не являюсь его биографом,
но поэтом его являюсь.
Эхо причется за колонною,
словно девочка затаенная.
Над строительными лесами
слышу спор былых адресатов:
«Погоди, Собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов!»

IX

Реставрируйте купол в историческом кобальте!
Реставрируйте яблоню придорожную в копоти.
Реставрируйте рыбу под мазутными плавнями.
Возвратите улыбку на губах, что заплакали.
Возродите в нас совесть и копия Апокалипсиса.
Реставрируйте новое, что живое пока еще!
Что казалось клиническим с точки зренья приказчика,
скоро станет классическим, как сегодня Пикассо.
Чистый вздох стеклодувиши из глины гусь-хрустальной
задержался в игрушке модернистки кустарпой.
Чтобы лет через тыщу реставратор дотошный
понял вечную душу современной художницы.

X

Он остался в архивах царевых,
в подсознание Золотарева.
Он живет по Урицкого, 30.
В доме певчие половицы.
Мудр хозяин, почти бесплотен,
лет ему за несколько сотен.
Губы едкие сжаты шпичкой.

Его карий взгляд над оправой,
что похожа на чайное ситечко,
собеседника пробуравит.
Имен пыпешный не отшельник,
я б назвал его имен-общественник.
Он спасает усадьбу Некрасова,
окликая людей многообразово
от истицы Истории имени.
Бескорыстно-районные именьи!
Боли, радости, вамн копимые,
ваша память — народная совесть.
Я ему рассказал свою повесть.
«Полисадов?» — он спросит ехидно,
лба морщины потрет, словно книгу.
И из недр его мозга с досадой
на меня глядел Полисадов.

Профиль смуглый на белом соборе,
пламя темное в крупных белках,
и типайшее бешенство воли
ощущалось в сжатых руках.
(Вот таким на церковном фризе,
но-грузинскому царбровым,
в ряд с Петром удивленной кистью
написал его Целебровский¹.)
Но не только в боренье с собою, —
носох сжав, побелела рука —
каждодневном боренье с собором.
Он в нем с детства видел врага.

В нем была бы надменность и тронность,
если бы не большие глаза
и посадки грузинская стройность,
что всегда отличала отца.
«Что тебе, бездуховный отпрыск?» —
как бы спрашивал хмурый образ.
Но материализм убежденный
охранял меня от привидений.
Молодая жена Валентина
чай подаст и уложит сына.
Долог спор об усадьбе Некрасова
и о том, что история — классова.

¹Целебровский П. И. (1859—1921) — художник 1 класса, расписывал собор по заказу Полисадова (см.: Кошдаков Н. Словарь русских художников).

XI

Как Россия ела! Семга розовела,
 луковые стрелы, студень оробелый,

 красная мадера в рюмке запотела,
 в центре бычье тело корочкой хрустело, —

 как Россия ела! — крабов каравеллы,
 смена семь тарелок — все в один присест,

 угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! —
 Ева змея съела, яблочком засла,

 а кругом сардели на фарфоре рдели,
 узкие форели в масле еле-еле,

 страстны, как свирели, царские форели,
 стейк — для кавалеров, рыбка — для певест,

 мясо в центре пира, а кругом гарниры —
 платья и мушцеры, перси и лапнты,

 а кругом гарниры — заливные шивы,
 соловьи на ивах, страпники гонимые,

 а кругом гарниры — Господи, храни их! —
 сонмы душ без имени...
 позабывши перст,
 есть дворянский округ, а в окошках мокрых
 вся Россия смотрит, как Россия ест.

XII

Я твою читаю за песню песнь:
 «Наче всех человек окаянен есьмь».
 Для цокорных жен, для любовных смен
 «Наче всех человек окаянен есьмь».
 Говорящий племянник зверей и роц,
 я единственный в мире придумал ложь.
 Почему на Оке от бензина тесьмь?
 Наче всех человек окаянен есьмь.
 Ошозорен дом, окровавлен лес,

из истории стон, из Гайаны — весть,
 но кто кинет камень, что чист совсем?
 В одного камнями кидают семь.
 Но, отвергнув месть, как пройдя болезнь,
 человек за всех неприкаян емь —
 ставя храм Нерли, возводя Хорезм,
 человек за всех покаянен емь.
 Почему ж из всех обезьян, скотин
 окаянен емь человек один?
 Ибо «Песней песнь» — человечья песнь.
 Человек за всех богоявлен емь.

XIII

Это было в марте, в вербном шевелении.
 «Милый, окрести меня, совершеннолетнюю!

Я разделась в церкви — на пари последнее.
 Окрести язычницу совершеннолетнюю.

Я была расколыницей, пьянью, балериной.
 Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?

Глаза — благовещенские, желтые, янтарные.
 Первая из женщин я вошла в алтарную.

От толпы спасут меня сани шевролетные...
 Милый! Окрести меня, совершеннолетнюю!

Я люблю твой голос, щеки в гневных пятнах,
 буду годы, годы тайная жена твоя.

На снегу неммыслимом, схваченная платьем,
 встану с коромыслом — молодым распятем!

Я пришла дать волю и раскрепощенье.
 Я тебя простила, слепой священник...

Завтра в шали черной вернусь грех отмаливать.
 Врежется в плечо мне перстень твой эмалевый.

«Любишь! любишь! любишь!» — прочту во взорах...»
 Содрогнулось чудище пустого собора.

В 1882 г. чугунный пол заменен на деревянный, щитовой, главы покрыты железом и крашены медянкой, пробита арка для соединения храма с теплой церковью, клиросы отделены киотами, стены заново покрыты живописью.

Из описания Полисадова

...были заподозрены в разброске прокламация два послушника Благовещенского монастыря.

*Из «Донесения Влад. Губернского
Жандармского Управления»*

Он случившимся тяготился,
золотой заложник истории!
В середине шестидесятых
он от дел мирских удалился.

Сбросил имя. Стал Полисадов
настоятелем Алексием.
Пастырь был прогрессивен.
Сгоряча собор перестроил.

Церковь теплую свел с холодной
аркой циркульной, бесколонной,
полстены проломив при пароде.
Арка ахнула переходная
как глубокий вздох о свободе!
А над аркой, стену осияя,
повелел написать Алексея.
И сказал, как в зеркало глядя:
«Чья взяла, Собор на Посаде?»

Задержалось эхо с ответом.
Человек расквитался с историей.
Он стоял, свободы отдавая.
Был он воин. Он был мужчина.
Распрямилась жизни пружина.
Звал художников¹. Знался с Уваровой².
Своим весом спасал арестованных.
Например, когда пару монахов
(Агофангела и Евлахия)
обвилили в расклейке листовок.

¹ Магдалина, что обмирала, вышла в Омске за генерала.

² Уварова Прасковья Сергеевна — графиня, жила под Муромом, с 1884 г. председателем Императорского Археологического общества, автор 174 работ, в том числе «Могильники Сев. Кавказа». Была инициатором реставрации храма Свети Цховели (Историческая энциклопедия).

Было страху!
Революция только заваривалась.
Но уже завезли в ограду
камень редкого лабрадора
цвета выцветшего граната —
камень с именем «Полисадов».
И Уварова губы кусала.
И вздохнуло эхо фасадов:
«Чья взяла, Андрей Полисадов?»

Похоронен он у Собора
на Посаде.

XV

Чья ты маска, Андрей Полисадов, —
дух мятежный семьи Багратов?
друг и враг шамхала Тарковского?
христианский варьянт мюрида?
на соборной стене осадок?
Золотой мотылек бестолковый
залетел на твой светоч адов.
Ты в миру «Андрей Полисадов»,
а до мира, а после мира?
Смысл бессмертный и безымянный,
что хотел ты в земных временках,
став Андреем и Алексием?
Почему из людского стада
духи Грузии и России
тебя выбрали, Полисадова?
Почему против воли ниита
то анафемою, то стоном
голос муромского архимандрита,
словно посох, рвет микрофоны?
И влечет меня, и влечет меня
что-то горнее, безотчетное,
гул низинный вершин грузинских...
Может, мне Калаццадзе кузина?

XVI

Ты прости мне, Грузия, что я твой подкидыш?
Я всю жизнь по глупости промолчал. Как примешь?

Бьется струйка горная в мою кровь равнинную,
По о крови вспомним мы, только в грудь ранимые.

Вот зачем отец меня брал на ГЭС Ингури,
где гора молитвенна, как игумен.

Эта кровь невольная в моих темных жилах
вместо «вы» застольного «мы» произносила.

«Наши!» — говорю я, ощущая пульсом,
как мячи пульсируют в сетку ливерпульцам.

Это наши пропасти, где мосты мизинцами,
это наши прописи рыцарства грузинского.

Может, есть отдельные короли редиса,
но делился витязь лукурою единственной

с Александром Сергеевичем, Борисом Леонидовичем,
тер щечкой сердечною мокрые ланиты.

Вновь почные фары — может, мои кровники —
на горе рисуют полосы тигровые.

И какой-то тайною целомудренной
тянет сосны муромские к пицундовским.

XVII

Когда сердце устанет от тины
или жизнь моя станет трудной,
календарь на часах передвину
на тринадцать отвергнутых дней —
перейду из Пространства во Время,
где Ока и тропика над ней.

И тогда безымянный заложник
выйдет в сумерках на косогор,
как слепую белую лошадь,
он ведет за собою собор.

И, обнявши за белую шею,
 что-то шепчет на их языке —
 то, о чем рассказать не сумею.
 А потом они скрылись к реке.

Эпилог

Мой муромский мюрид, простимся, мой колодник!
 Я обещал собор. Я выстрадал собор.
 Меж теплой стороной и стороной холодной
 сквозит в стене дыра, пробитая тобой.

Я говорю с тобой из теплого собора.
 Зачем второй раз жить? А первый раз зачем?
 Лампадкой ты горшишь в мозгу Золотарева,
 в мозгу моих друзей, читателей поэм.

Любая жизнь — собор. В моей — живые башни.
 Одну зову я «Ты», другую — «Родион»,
 и безмянный звон над башней самой зряшной,
 собор — не Пантеон.

Распущен мой собор на волю, за грибами.
 Горюют, пьют, поют. Назначен в сердце сбор.
 Одна из баненок мотор разогревает.
 Все это мой собор.

Меньшую башенку экзаменатор топит.
 По баллам недобор для нашенских сорбонн.
 Но в сердце у нее тысячелетний опыт —
 куда профессору!
 Все это мой собор.

Бродите по земле, соборы нового типа!
 Между собой моей вы связаны судьбой.
 За счастье вас любить — великое спасибо.
 И это мой собор.

Пускай летят в собор напрасные камошня.
 Из праздных тех камней сработаем забор.
 Живу я как пою — пою я как умею.
 Свобода — мой собор.

Однажды ошибаются саперы.
Шумит любовью жизнь. Но не лови ворон.
Горят огни лампад вселенского собора,
и без лампад огни в соборе, во втором.

Дубовый лист виолончельный

Женщина перед зеркалом

(на мотив В. Смита)

Ты все причесявасься в ванной,
все причесявасься.
Все пирамиды, сфинксы все изваяны,
ты все причесявасься,
гусиные вергулись караваны,
Шехерезады выдохлись и Чосеры,
ты все причесявасься.
Ты чешешь свои длинные, медвяные,
окутываешь в золото плечо свое,
с пушком туманным тело абрикосовое,
ты все причесявасься.

Свежайшие батопы стали черствыми,
все розы распустившиеся свянули,
устали толкователи Евангеля,
насытились все властью облеченные,
отмучились на муки обреченные,
повысохли в морях русалки вяленые,
все тайны мирозданья — при чем они?
Ты с Вечностью ведешь соревнованье.
Ты все причесявасься.
Четвертый час заждался на диване я,
осточертела поза мне нечорипская,
паркет истлел от пепла папиросного,
я погу отлежал, да и все прочее,
как говорится, положенье «сосовое», —
ты все причесявасься.

Все в ресторанах съедены анчоусы,
спиричуэлсы сняты пугачевские,
накрылось электричек расписание,
чесать пора отсюда, я подчеркиваю,
по ты, как говорится,
не ночесывасься,
ты драишь косы щеткою по-черному.

«Под ноль» тебя обрею!
Ноль внимания.
Ты все причесываешься.

Люблю я эту дачу деревянную,
жить бы да жить
и чувствовать отчетливо,
что рядом ты, дуна обетованная,
что все причесываешься!..

Под дверью свет твой
прочертился щелкою,
в гребенке электричество пощелкивает.
Эй, берегись! Устроишь замыкание!
Почной смолою пахнет сруб отсанный.
Я слышу — учащается дыхание.
Чу! Кончила? Шуршит простынка банная.
Нет, все причесываешься.

**Выписка из книги «Чародейство, волшебство
и все русские народные заговоры»**

«Чтоб женщине стать умной, падо печень
съесть соловья, в Купалу заколов...»
Вот почему так много умных женщин.
Вот почему так мало соловьев.

Когда звоню из городов далеких —
Господь меня простит, да совесть не простит, —
я к трубке припаду — услышу хрипы в легких,
за горло схватит стыд.

На дыпочках живешь. На дыпочках болеешь,
чтоб не сплунуть во мне паитья благодать.
И черный потолок прессует, как Малевич,
и некому воды подать.

Токою как глухарь, по городам торгую,
толкуют пошляки.
Ударят по щеке — подставила другую.
Да третьей нет щеки.

Телеграмма

(на мотив А. Жюфруа)

ТЕБЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ПОЧТА РЯЗАНИ КАЗАНИ
ТАПЗАНИИ И ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА-ТАКАЯ ТОСКА
ТЧК ПРОСТРОЧЕНЫ МНОГОТОЧИЕМ СЛЕДЫ ТВОЕГО
КАВЛУЧКА ТЧК С ТОВОЙ МЫ ЛЮБОВЬ КРУТАНУЛИ
НА ФОНЕ ПРИБОЯ И ОГНЕННОГО ПЕСКА ТЧК ТЫ ВСЯ
ГОЛУБАЯ? СПИНА ГОЛУБАЯ ЕЩЕ ГОЛУБЕЕ ЩЕКА
ТЧК ОТЛИЧНАЯ ТЕЛКА ЗАМЕДЛЕННАЯ СЛЕГКА ТЧК
ЛЕЖАТ НА ПЕСКЕ ИЛЛЮЗИИ И СБРОШЕННЫЕ ШЕЛ-
КА А ТАКЖЕ РОМАН ЮЛИАНА ИЗ ЖИЗНИ ОДЕССКОЙ
ЧК Я БРЕЮСЬ ЖУЖЖАЩЕЮ БРИТВОЙ МЕНЯ ТЫ ЦЕ-
ЛУЕШЬ И ЛЮБИШЬ И ЛАСТИШЬСЯ БРЕЮСЬ ПОКА
ТЧК ТОБОЮ РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ ЛЕТИТ НА ЧЕ-
ТЫРЕ КУСКА ПРИМЕТА ОСТРА И ГОРЬКА ТЧК О БУДЬ
ОСТОРОЖНЕЙ ОБРЕЖЕШЬ СВОИ ГОЛУБЫЕ БОКА ТЧК
ПРОЩАЙ ОТРАЗИВШИСЬ В ОСКОЛКАХ К ТЕБЕ НЕ
ВЕРНУСЬ НИКОГДА ТЕБЯ НЕ ЛЮБЛЮ НИКОГДА НИ-
КОГДА ОПЯТЬ НА ТЕБЕ СТАВЛЮ ТОЧКУ ТЧК ТЧК ТЧК
ТЧК ПОИЩИ ДУРАЧКА ТЧК ПОЙДЕШЬ СПОТЫКАЯСЬ
НА КАЖДОЙ СТУПЕНЬКЕ МОСТКА ТЧК ПОКА ТЧК
МОЯ ГОЛУБАЯ ЕДИНСТВЕННАЯ НАВЕРНЯКА ТЧК
ПРОЩАЙ ТЫ ОСТАПЕШЬСЯ В СТРОЧКАХ ТЕЛЕГРАФ-
НОГО ЯЗЫКА И ГДЕ-ТО НА ПОЧТЕ НОЧЬЮ НАД СКОМ-
КАННЫМ БЛАНКОМ СРОЧНЫМ ТЫ ВСКРИКНЕШЬ
НЕВИДИМА И БЛИЗКА ТЧК ПОЙМЕШЬ ЛИ СКВОЗЬ
ЭТИ СТРОЧКИ МОЙ ОДИНОКИЙ ВОПЛЬ ВОПР-

Прости мне, человеку, человек, —
Надежда, коронованная Нобелем,
как страшный джинн, рванула над Чернобылем.
Простите, кто собой закрыл отсек.

Прощай, падежд великое вранье.
Опомнись, мир, пока еще не поздно!
О Боже! Если я — подобье Божье,
Неужто Бог — подобие мое?

ВИДЕОМЫ



**Слава Ростроповичелло.
Гуашь. 1989 г.**





Леонард Бернстайн.

Собственность художника Розенквиста.

Картон, семена липы, пепел.

1987 г.



Прокофьев.

Собственность

художника Розенквиста.

Бумага, гуашь,

деревянные рейки,

кофейные зерна, металл.

1987 г.



Мулатка в тумане.

«Еще чашечку кофе?»

Картон, кофейные

зерна.

1987 г.



Свежие овощи лица.
Авдеев, металл. 1951 г.



Шостакович.

Картон, белла. 1996 г.

Заболоцкий.

Белый картон, гуашь, свет.
1988 г.

ЗАБОЛО

ИИ





Лапти.

Береста, гуашь, шашматы,
стеклянный водочный штоф.
1991 г.

Николай Гумилев.

Картон, светящееся табло, два отверстия от пули.
1990 г.



ГУМИЛЁВ

«Когда эхо — мне тесно».
Совместно с Робертом
Раушенбергом.
Офорт. 1979 г.





Раскольников.
Картон, гуашь, свст.
1979 г.

Натюрморт.

Акварель. 1952 г.



Портрет.

Гудинь, смальста. 2000 г.



1

Шапка лежит на шоссе, как истец,
кровью запекшийся белый песец.

Дар браконьерский с таежной ТЭЦ,
спас меня другом убитый песец.

2

Трейлеру в прицеп
вмятое такси.
И лежит песец
посреди Руси.

Шел против движения
трейлер-дувролом
с нашим современником
за рулем.
Трасса с деревеньками
свернута в рулон.

(Ты лети, народ,
но, летя, учти
дурака, что прет
поперек пути!)

Что сказал ОРУД?
«Бабы кровь затрут...
Если б не песец —
...списец!»

Что сказал таксист,
сломав два ребра?
«Пассажир, очнись!
С тебя три рубля».

3

Реакцию пассажира не заливали.
Вы этого не поймете,
ей-ей!

Хорошо, что трейлеры не летают
и что мы были в такси, а не в самолете.
Оттуда
падать
большой.

Я автоответчик
в вашем распоряжении одна минута
отвечайте после сигнала:

— Звонила Алла
подпишите приветствие борющемуся Сенегалу.

— Поговори со мной. Мне худо
— в вашем распоряжении одна минута.

— Ответишь за Шагала,
паскуда,
в твоём распоряжении одна минута.

— Я вам послала поэму
спросить Эмму.

— Записывай. Я глас Оттуда,
небесной информации утечка.

— Я Манюта
группа Σ пос
приглашает в Старую крепость
как вы насчет узбечек?

— Говорят поэты из «Вертепа»
небо — слепо

— вы автоответчик Вознесенского?
Говорит автоответчик Таривердиева.

Наших хозяев пора привлечь по вердикту.
Да здравствует международная солидарность
автоответчиков.

— Как же! Ответил волк за овечек!
Я за им гяласи

а он восвояси

— Ответим на происки Хайли Селаси!

— Вы меня не знаете. Я Афанасий.

Убили отца. Кишиневская мафия

— Верните поэму
спросить Эмму.

- Вы Афанасий?
- Я Манюта.
- В вашем распоряжении одна минута.

Я автоответчик.

Я отвечаю

от Черной речки и до Камчатки
 за век увечный вопросов вечных,
 за чадо малое, за пошлость «чао»,
 за радиацию в брикетах чая,
 за порн парнасский, за звук фоящийся,
 за хрип твой порвавший, Афанасий!

Талмуды. Будды. Христы. Иуды.

В вашем распоряжении одна минута.

Отвечайте после сигнала...

После сигнала...

слепо...

гпаласи...

слепослепослепослеΣпослепослепослеПОСЛЕ гпаласигнала-
 сигналаСИГНАЛА

Недописанная красавица

Ф. Абрамову

Где холсты забывдкой отбеливают,
в клубе северного села
дочь шофера записку об Элиоте
подала.

Бровки, выгоревшие, белые,
на задумавшемся лице
были словно намечены мелом
на задуманном кем-то холсте.

Но глаза уже были — Те.

Те глаза — написаны сильно
на холщовом твоём лице —
смесь небесного и трясини —
говорили о красоте.

Недописанная красавица!
Будто кто-то, начав черты,
испугался, чего касается,
и бежал твоей красоты.

В тебе что-то от нашей жизни
с непрописанною судьбой,
что пуждается в некоей кисти,
чтоб себя осознать самой.

Телевизорная провинция!
Ты себя ещё не нашла.
И какая в тебе предвидится
непроснувшаяся душа?

Телевизорная провинция,
чьи бревенчатые шатры

нынче сумерничают с да Винчи,
загадала твои черты.

С шеи свитер свисал как обод,
снятый с местного силача.
И на швах готовые лопнуть
Джинсы — тоже с чужого плеча.

В жизни что-то происходило!
Темноликие земляки.
Но ресницы их белыми были —
словно будущего штрихи.

И стояла моя провинция,
подпирающая косяк,
и стояла в ней боль пронзительная —
вдруг пропишется, да не так...

Время в стойлах мычало, бляело.
Рождество намечалось в них.
И тревожился не об Элиоте
очарованный черновик.

Двадцать первого века подросток
мучил женщину наших дней.
Вся — набросок!
Жизнь, пошли художника ей.

1

Над страной
категорический императив:
«Какой
открыть кооператив?»

Мой подельник
открыл продажу видеоденег.

Ведро видеорублей
стоит 5 золотых угрей.

Видеоатлеты. Видеопобеды.
За видеодепьги — видеообеды.
Видеоподписка. Видеоотставка.
Продается видеомужик с приставкой.

Вас приглашает кооп. боксерский клуб:
1 зуб — 1 руб.
Оперативники открыли клуб:
1 труп — 1 руб.
Есть сахарный клуб:
1 хруп — 1 руб.
Клуб «Хула-Хуп»
для группы
повышенного риска:
1 хуп — 100 инв. руб.
Есть видеологический совет при СН по рукописям молодых:
1 заруб — за 1 руб.

Видеозаботы. Видеосвободы.
В видеосубботу семеню
с видеоработы в видеосемью.
Видеоскотипа, пой нас молоком!
Видеоскапдируем. Видеоживем.

В нас царит физически мертвый злодей.
Мы — метафизический вид людей.

Видеосмирившись, видеонарод
в видеомилицию видеоидет.
Видеопрогнозы. Видеоразмах.
И видеослезы на похоронах.

Кто придумал этот Кооператив?
Как распрограммировать карантин?
Кто хотел бы лозунга в полстены:
«...плюс видеофикация всей страны»?!

Русь, куда несешься ты, дай ответ?
Над тобой невидимый хранящий щит.
Руст, куда несешься ты, дай ответ?
Shit!
Он нам шлет из Гамбурга видеопривет.

Дивная картина. Полная луна.
Ты прости нас, снежная дивео-страна!

Кто встряхнет царевну из девиосна?
Черные деревни. Родина больна.

Дивео-прозренья. Вий. Умов мятеж.
Дивео последних вспыхнувших надежд.

Сборка колоколен. Демонтаж ракет.
Снежный лес несется абстрактным Фидием.
Русь, куда несешься ты? Дай ответ.
Даст ответ —
действительный, а не видео.

2

— Русь, куда несешься ты? Дай ответ.
Не дает ответа.
— Интервьюеров достойных нет?
— Нету.

Но летят два голоса. Миллионы лет.

Где-то. К Богу ль?

— Русь, куда несешься ты? Дай ответ...

(Гоголь)

Русь: «Куда несешься ты, дай ответ, Гоголь?»

1

Кто поднял топор на священника?
Кто шел за ним в рапную стынь?
И как найти в сердце прощение
тому, что сейчас творим?
Кто поднял топор на священника,
тот проклял себя. Аминь.

Неужто страна в деградации
болсет так тяжело,
когда не до святотатства —
до святотопорства дошло?!

Красивый. Сердца ежечасно
смягчал. Темны времена.
Убитый домой стучался.
Его не узнала жена.
Накрыла его безучастная
сусальная простыня.

С его позвонками шейными
диспут провел топор.
Страна, убивая священников,
пишет себе приговор.

Они беззащитной аортой
с Тарковским были близки,
пятьсот пятьдесят четвертой
школы ученики.

Мы вместе учились в чертогах
пятьсот пятьдесят четвертой.
На папихиде твоей
от имени нашей школы
зажгу тебе свечку скорбную,
опальный протоиерей.

Приход посреди России.
Афганцы. Маковок синь.
И девушка вслед литургии
вздохнула: «А. Мень... Аминь...»

А в небе кровавым довеском
над утренней нашей тропой
с космической достоверностью
предсказанный Достоевским,
как спутник, летит топор.

2

Прокатилось до Армении от московских деревень:
Мень,мень,мень...

И афганцы парашютные шепчут исповедь с колен,
автоматами прошитые, точно в дырочках ремень:
«Мень,мень,мень...»

Отвечает эхо: «Мень —
нем».

Новая Деревня
Храм Сретенья

Трещина

Я дерево вкопал
в национальный парк.
В моих ушах звенит
национальный стыд.
Кто замутняет ход
национальных вод?

Бьет в поздри мне из недр
национальный дух,
национальный кедр,
национальный дуб.

Светает среди верб
национальный серп.
Полз в яблоневый сад
донациональный гад.

С холма на сериал
полуслепых полян
хрусталиком сиял
национальный храм.

Бесчеловечий дух
соединил в веках
Блаженного петух
с чалмами и в крестах.

Писей поднебесный тир.
Озерный Левитан.
И небосклон из дыр
озонных трепетал.

Вдруг Божий белый свет
рассыпался в момент

на центробежный спектр
национальных лент.

Все резче и красней
белки моих друзей.
И зреет, сроки скрыв,
национальный взрыв.

Якутская Ева

В. Тетерину

У фотографа Варфоломея
с краю льдины, у черной волны
якутянка, «моржиха», нимфея
остановлена со спины.

Кто ты, утро Варфоломея,
от которой офонарели
стенды выставки мировой?
К ледоходу от мод Москвошвея
отвернулась якутская Ева,
и, сощурясь, морщинка горела
белым крестиком над скулой.

Есть свобода в фигуре ухода
без всего, в пустоту полыньи.
Не удерживаю. Ты свободна.
Ты красивее со спины.

И с тех пор нетрезвевший художник
мне кричит: «Я ее не нашел!»
Бороденка его, как треножник,
расширяясь, оперлась на стол.

Каждой встреченной, женщине каждой
он кричал на пустынной земле:
«Отвернись! Я узнать тебя жажду,
чтобы крестик горел на скуле.

Синеглазых, курносых, отважных
улыбаются множество лиц.
Отвернись, я узнать тебя жажду!
Умоляю тебя, отвернись.

Отвернись от молвы и продажи
к неизведанному во мгле.

А творец видит Золушку в каждой.
Примеряет он крестик к скуле.

Отпечатана многотиражно —
как разыскивается бандит —
отвернись, я узнать тебя жажду.
Пусть прищуренный крестик горит...»

Я не слушал Варфоломея.
Что там няный мужик наплетет!
Но подрамник, балдея идесей,
он за мною втолкнул в самолет.

Остановленное Однажды
среди мчащихся дней отрывных —
отвернись, я узнать тебя жажду!
Я забуду тебя. Отвернись.

Один на один со Вселенной,
один против ветра и льдин,
конечно, ты вместе со всеми,
и все же — один на один.

Один на один со стихией,
и этим непобедим,
частица людей и России,
и все же — один на один.

Металлом обитые лыжи
оставят пустые лыжни,
как шашкой во имя жизни
оставленные ножны.

Откажут и лыжи и тело,
идешь на желанье одном.
Стоять на своем — это смело,
смелее — идти на своем.

За это в арктической точке
на двадцать четвертой «СП»
подснежник морозоустойчивый
подарит полярник тебе.

И с этим народом отборным
поймешь настоящий успех,
полученный в единоборстве,
и все же — со всеми, за всех.

Соскучился. Как я соскучился
по сбивчивым твоим рассказам.
Какая наша жизнь лоскутная!
Сбежимся — разбежаться сразу.

В дни, когда мы с тобой разверстаны,
как крестик ставит заключенный,
я над стихами ставлю звездочки —
скоро не хватит небосклона!

Ты называешь их коньячными...
Они же — попаданий скученность
по нам палящих автоматчиков.
Шмаляют так — что не соскучишься!

Но больше я всего соскучился
по краю глаза, где смешливо
твой свет проглядывает лучиком
в незагоревшую морщинку.

Зачем тогда?

Юная з/к. В глазах тоска.
Женщина зарезала мужика.

«Ах, зачем все слышится наша музыка?
Вижу Юзика.
Зачем тогда ты, милый, нажрался, зверь?
Зачем тогда ты бил меня башкой об дверь?
Зачем тогда я чистила ножом тараньку?
Надо было — раньше...

Я успела бы отсидеть,
не успев еще поседеть».

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма
по городу ежегодно
нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы
и попадали б в раму
то святая береза,
то реки панорама.

Вбежала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела б святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на нее, плакала бы.

Женщины есть в русских городах —
выметают из страны бардак,
может, понимают в карате,
но печаль в их Божьей красоте.
Женщины на русских площадях
кладут асфальт в оранжевых плащах,
чтобы всем позорище видшей —
апельсины наших площадей!
(Только их попробуй пожалей.)
Кто-нибудь есть в наших городах
их понять, раздавленных в катках?

В русских городах женщины есть.
Грустные русалки посят «вест».
Есть в России пара стройных ног,
только русских нет для них сапог.

Металлисток узнает радар.
Женщины есть в русских городах.
Только мало русских городов.
В Амстердаме взят универмаг.
В Лондоне палаживают кров.
Но зарегистриванный ветер
проникает сквозь бетон и фетр.
Спят. Им снится, что в чужих краях —
женщины есть в наших городах.
Ждут гостей. Прически городят.
В зеркало Тарковского глядят.
Есть в них благовещенская весть —
в них любовь как смысл и страсть как тест.
Жизнь моя давно б прекращена —
но в русском городе есть женщина...

Но мы вспомним сны. Что видишь ты?
Ты вернулась — все дома пусты.

Только эхо носится в стенах:
«Кто-нибудь есть в русских городах?»
Женщины есть в русских городах,
сгнули в сибирских в лагерях...

С худобой табачною сивилл,
мне Берггольц рассказывала быль,
как ее до выкидыша бил
следователь, выбросив в пролет.
Она все летит и все поет
над страной и дождичком косым:
— Сын!..
Возвратите женщину в мой прах.
Кто-нибудь есть в русских городах?

После сел он к ней в зале Кремля
и спросил от радости, без зла:
«Ольга Федоровна, помните меня?»
Она молча встала и ушла.
Жрал детей своих медведь-шатун,
русской революции Сатурн.

Пусть, родив, ей молятся без слов
женщины из русских городов.
Выдать ей торопятся на свет
матери четырнадцати лет,
маленькие сверстницы Джульетт.
Она рада. Но ей счастья нет.

Ольга! Ольга! Облик молодой.
Богоматерь — год 37-й.
Разве позабыть тот стыд и страх?
Кто-нибудь есть в русских городах?

Мне Ленинград — двоюродный.
Но чувствую тоску,
когда линогравюрой
решетка на снегу.

Зачем в эпоху скучную
вонзает в сердце звон
курчавый, точно Кушнер,
чугунный купидон?

Беатриче

Одергивая юбку на ногах,
ты где-то бродишь в разных городах,
на цыпочках по сцене мировой,
мой дух, как гусь, бежит вслед за тобой.

Я встретился с Недоуменьем.
Недоумение звали странно.
Предъявила как документы
длинноногие свои данные.

Недоуменною медуницей
пахли глаза твои после экзамена.
Ты потерялась в толпе Москвы,
в грохоте нашей цивилизации,
словно волшебная спица вязальная —
недоуменная тихая спица
с кроткою бусинкой головы.

Длинноногое недоуменье,
как ты связала тихую спицей
дни и дела!
Пел переделкинский филумела.
Громкие музы над нами шумели.
Я обожаю женские спици.
Муза безмолвная рядом прошла.

Втискивал в щели монеты негнутые
я в автоматы райцентров и стран,
недоуменно пил трехминутный
твоего голоса тихий стакан.

Недоумение от свершившегося,
недоуменье от предстоящего,
но доминировало недоуменье —
как же мы жили все это время?

Как мы жили без недоуменья?
В мире, спрессованном как пельмени
меж монументов добра и зла?

Каждое утро, как умываюсь,
что тебя не было — недоумеваю,
недоумеваю, что ты была.

А именины недоуменья,
 когда завтрашнюю газету
 я приносил тебе, разбудя,
 и расстирал простыней непочатою,
 и на плече твоём отпечаталась
 лучшая строчка моя про тебя?!

Это такая печати свобода,
 живые стихи.
 Всюду небесным громоотводом
 бродишь со мной, отпуская грехи, —
 так в непогоду луч удлиненный,
 зябкий, ошибшийся, удивленный,
 ступит на землю, прорвавши верхи.

Есть в тебе что-то от тихого омота,
 сонной русалки, прописанной в комнате,
 есть в тебе помесь кельи и Клее
 и неприкаянного поколопья.
 Видел я сам, как влетаешь ты в форточку,
 узкие бедра надравив фосфором.

Если размолвка набрякнет над домом,
 просишь ты, лобик наморщив в резьбу,
 с мукой какой-то недоуменной:
 «Можно, я чашки сейчас разобью?»

Бой, молодчага, все, что имеем,
 дочь моих строчек, свобода и Русь!..
 Вечно встречаюсь с недоуменьем.
 С недоуменьем расстаюсь.

Как я расстался с Недоуменьем?

Это еще не случилось — случится.
 Стану счастливым, стану надменным,
 но это буду не я, а вы
 вряд ли узнаете визуально
 женщину эту, взглянувшую с пирса,
 будто блеснувшая спица вязальная, —
 недоуменная Божья спица
 с кроткою бусинкой головы.

Зашторены закаты,
а может, день за кадром,
иное время мира?
За что ты мне такая,
с бескрайними ногами —
отсюда до Таймыра?

Наполнены стаканы,
осушены стаканы,
и подпяты стаканы.
За что? За наши тайны.
За то, что загадали.
За что ты мне такая?

За что я потакаю
твоим дурацким выходкам?
Тебя бы батогами...
На людях — таратайка,
а рядом — тише выдоха,
за что ты мне такая?

Чуть проступают позвонки,
как снегом скрытая дорога.
Не «напиши», не «позвопц» —
побудь такую, ради бога...

Когда с тобою говорим,
во рту — как мятная истома.
Я — гений, если я достоин
назвать тебя и быть твоим.

Твои волосы — долгие на удивление.
Ты еще не подруга, но уже не сестра.
Дай мне
три километра
твоего волшебного времени
от Арбата и до двух утра.

Ты причислена к клубу лучших женщин
планеты.
Все в жизни сдвинулось.
Границ нет.
Меж наших плечей сияют просветы —
от сантиметра до тысячи лет.

Твоя серая кепочка — как жареный фисташек,
где чуть-чуть расщеплена,
как клювик,
скорлупа...
Как щебечет жизнь твоя на дистанции
от Данте до Киевского моста!

Тебе

(на мотив А. Йозефа)

Я так люблю Тебя, когда
плечами, голосом, спиною
меня оденешь Ты собою,
как водопадная вода!

Я обожаю быть внутри
Твоей судьбы, Твоих смятений,
неясный шум Твоих артерий
как сад растущий раствори.

Да будет плод благословен
Твоего тонущего лона!
Из всех двуногих миллионов
Ты мною выбрана затем.

И легкие, как два куста,
в Тебе пульсируют кисейно.
Я слышу печень и кишечник,
Ты вся священна и чиста.

За что же жребий мне такой.
Я родился, чтоб утром рано
увидеть руку со стаканом,
с Твоею жилкой голубой.

Поп-певец

Мы, вампиры,
предпочитаем коммунальные квартиры.

Ваши стоматологи сидят в ампирах —
беда вампирам...

Я — вампир. Но не в смысле переливания крови.
Не боюсь креста, чеснока и пр.
Я подзаряжаюсь вашей любовью.
Вампир.

У меня есть тайное место за Онегою,
или Кожеозерский монастырь.
Князь там перед битвой подзаряжался энергией.
Вампир?

Вот почему женщины, мной покинутые,
чувствуют вакуум и упадок сил.
Сволочь посвежевшая, иду по Киевской.
Я — вампир.

Но это называется победой пирровой.
Когда выходите на стадион —
он вас коллективным вампиром
высасывает, как лимон.

И люди заряжаются вашей жизнью,
живут ею месяцы, становятся добрей.
Разъезжаются с нею в Орлы и Жиздры
и вам присылают своих дочерей.

Господи, чем мы тебя обидели?
Как сладко и страшно устроен мир.

Дети-вампиры сосут родителей.
И всех высасывает земля-вампир.

Ты вошла в гостиницу, зубки шилкой,
был в утренних объятьях застенчивый укор —
вампирка! —
последнее, что помню — в горло укол.

Теперь пролетаю, как демон миценья.
Где ты? Но поздно — тебя я полюбил.
В квартирах отключается освещение.
И женщины чувствуют прилив сил.

Жаль, что проходит «на ура»
стихов давнишних часть.
Они написаны вчера,
вчера — то есть сейчас.

Я их писал на злобу дня,
писал я, осерчав.
Клянут меня, клеймят меня —
вчера, как и сейчас.

Они застыли в злобу лет.
К чертям бы им пора!
Конца их преступлениям нет
сейчас, как и вчера.

Стих и не плох, но не дай бог,
что персонаж пера
вдруг станет «злобою эпох»
и завтра, как вчера.

А ты садишься на окно,
коленками сучась.
Ты повстречалась мне давно,
всегда — как и сейчас.

* * *

Ах, летучая бусинка боли,
сверху листиком оснащена.
Золотые как будто бемоли
сыплет осень на нас семена.

Они впились в твой шарф полосатый,
зацепились в твоих волосах.
Тебя сделали Музою сада.
Я не знаю, в каких ты садах.

Подписка

Подписываюсь на Избранного
читателя.

Подписываюсь на исповедь
мыслителя из Чертапова.

Подпишите меня на Избранного,
властителя дум.

Я от товарища Визбора!
Читательский бум.

Кассеты рынок заполнили.
Сквозь авторов не протиснуться.
Подписывают на полного,
на Избранного не подписывают.

Подписывают на двухтомную
любительницу в переплете,
в ее эпиграмах утонете,
но до утра не прочтете.

Подписывают на лауреата премии
за прочтение неогения.

Подписывают на обои,
где краской тома оттиснуты.
Весь город стоит за Тобою.
Я отдал жизнь за подписку.

Подпишите меня на Выбранные
места из читательских писем,
где лучшие главы вырваны,
но чей талант — независим.

Подпишите меня на русскую
дорогу, что мною избрана!

Подписываюсь в пагрузку
на двух спекулянтов избами.

Подписываюсь без лимита
на народ, что живет и мыслит,
за Осипа, Велимира,
Владимира и Бориса.

Подпишите меня на повести,
слушаемые почами,
что с полок общего поезда,
как закладки, висят ступнями.

На судьбы без переплета —
бакенщика в Перемышле,
чьи слезы не перешьете,
но сердцем все перенипшете.

Подпишите на запрещенного
педсоветом юнца читателя,
кто в белом не видит черного,
по радугу — обязательно.

На технаря сумасшедшего,
что на печать не плачется,
пишет стихи на мажетах
и отдаст их в прачечную.

Читательницы-недогматки
с авоськой рынка Центрального!
Невыплаканные Ахматовы,
тайные мои Цветасвы.

Решительные мужчины —
отнюдь не ахматовцы —
мыслящие пемшины.
Спасут вас — и отхохмятся.

Валентина Александровна Невская,
читчица 1-й Образцовой!
Румянец Ванн москворецкий
станет совсем пушцовым.

Над этой строкой замешкаетесь,
свое имя прочтя в гарнитуре.
Без Валентины Невской
нет русской литературы.

Над Вами Есенин в рамке.
Он читчик был Образцовой.
Стол Ваш выложен гранками,
словно печь изразцовая.

Стихи въелись в пальцы резко.
Литературу не делают в перчатках.
Читайте книги Невской,
княгини книгопечатанья!

Германия сильна Лютером.
Двадцатые годы — Татлиным.
Штаты сильны компьютером.
Россия — читателем.

Он разум и совесть будит.
Кассеты наладили.
В будущем книг не будет.
Но будут читатели.

Духовный процесс

Поэма

Послесловие

7 апреля 1986 года мы с приятелями ехали от Симферополя по Феодосийскому шоссе. Часы на щитке таксиста показывали 10 утра. Сам таксист Василий Федорович Лесных, лет эдак шестидесяти, обветренно румяный, грузный, с шишиками, выцветшими от виденного глазами, вновь и вновь повторял свою тягостную повесть. Здесь, под городом, на 10-м километре, во время войны было расстреляно 12 тысяч мирных жителей еврейской национальности.

«Ну мы, нацаны, мне десять лет тогда было, бегали смотреть, как расстреливали. Привозили их в крытых машинах. Раздевали до исподнего. От шоссе шел противотанковый ров. Так вот, надо рвом их и били из пулемета. Кричали они все страшно — над стенью стоп стоял. Был декабрь. Все снимали галоши. Несколько тыщ галош лежало. Мимо по шоссе ехали телюги. Солдаты их не стеснялись. Солдаты все пьяные были. Заметив нас, дали по нас очередь. Да, еще вспомнил — столик стоял, где паспорта отбирали. Вся стень была усеяна паспортами. Многих закапывали полуживыми. Земля дышала.

Потом мы в степи нашли коробочку из-под гуталина. Тяжелая. В ней золотая цепочка была и две монеты. Значит, все сбережения семьи. Люди с собой несли самое ценное. Потом я слышал, кто-то вскрывал это захоронение, золотишко откапывал. Два года назад их судили. Ну об этом уже вы в курсе...»

Я не только знал, но и написал поэму под названием «Алч» об этом. Подспудно шло другое название: «Ров». Я расспрашивал свидетелей. Оказавшиеся знакомые показывали мне архивные документы. Поэма окончилась, но все не шла из ума. Снова и снова тянуло на место гибели. Хотя что там увидишь? Лишь заросшие километры степи.

«...У меня сосед есть, Валя Переходник. Он, может, один из всех и спасся. Его мать по пути из машины вытолкнула».

Вылезает. Василий Федорович заметно волнуется.

Убогий, когда-то општукатуренный столик с надписью о жерт-

вах оккупантов осел, весь в трещинах и говорит скорее о забвении, чем о памяти.

«Запечатлимся?» Приятель расстегнул фотоаппарат. Мимо по шоссе несся поток «МАЗов» и «Жигулей». К горизонту шли изумрудные всходы пшеницы. Слева на взгорье идилически ютилось крохотное сельское кладбище. Ров давно был выровнен и зеленел, но угадывались его очертания, шедшие поперек от шоссе километра на полтора. Белели застенчивые ветки зацветшего терновника. Чернели редкие акации.

Мы, разомлев от солнца, медленно брели по шоссе.

И вдруг — что это?! На пути среди зеленого поля чернеет квадрат свежевырытого колодца; земля сыра еще. За ним — другой. Вокруг груды законченных костей, истлевшая одежда. Черные, как задымленные, черепа. «Онять роют, сволочи!» — Василий Федорович осел весь.

Это было не в кинохронике, не в рассказах свидетелей, не в кошмарном сне — а здесь, рядом. Все только что откопано. Череп, за ним другой. Два крохотных, детских. А вот расколотый на черепки, взрослый. «Это они коронки золотые плоскогубцами выдирают».

Сморщенный женский сапожок. Боже мой, волосы, скальп, детские рыжие волосы с заплетенной косичкой! Как их туго заплетали, верно, на что-то еще надеясь, утром перед расстрелом...

Какие сволочи! Это не литературный прием, не вымышленные герои, не страницы уголовной хроники, это мы, рядом с несущимся шоссе, стоим перед грудой человеческих черепов. Это не злодеи древности сделали, а наши, наши люди. Кошмар какой-то!

Сволочи копали этой ночью. Рядом валяется обломленная сигаретка с фильтром. Не отсырела даже. Около нее медная прозеленевшая гильза. «Немецкая», — говорит Василий Федорович. Кто-то ее поднимает, но сразу бросает, подумав об опасности инфекции.

Глубина профессионально вырытых шахт — около двух человеческих ростов, у одной внизу отходит штрек. На дне второй лежит припрятанная, присыпанная совковая лопата, — значит, сегодня придут докапывать?!

В ужасе глядим друг на друга, все не веря. Как в страшном сне это.

До чего должен дойти человек, как развращено должно быть сознание, чтобы копаться в скелетах, рядом с живой дорогой, чтобы крошить череп и клещами выдирать коронки при свете

фар. Причем даже почти не скрываясь, оставив все следы на виду, демонстративно как-то, с вызовом. А люди, спокойно там мчавшиеся по шоссе, наверное, подшучивали: «Кто-то опять там золотишко роет?» Да все с ума посходили, что ли?!

Рядом с нами воткнут на колышке жестяной плакат: «Копать запрещается — кабель». Кабель нельзя, а людей можно? Значит, даже судебный процесс не приостановил сознания этой сволочи, и, как потом мне рассказывали, на процессе говорили лишь о преступниках, не о судьбе самих погребенных.

А что глядит эпидемстанция? Из этих колодцев может ползть любая зараза, эпидемия может стубить край. Но степи дети бегают. А эпидемия духовная?

Не могилы они обворовывают, не в жалких золотых граммах презренного металла дело, а души они обворовывают, души погребенных, свои, ваши!

Свежий ландыш блесет в траве. Нагибаюсь. Это фаланги детского мизинца, вымытые прошлогодними дождями и паводками.

Милиция посится по шоссе за водителями и рублишками, а сюда и не заглянет. Хоть бы пост поставили. Один на 12 тысяч. Память людей священна. Почему не подумать не только о юридической, но и духовной защите захоронения? Кликните клич, и лучшие скульпторы поставят стелу или мраморную стенку. Чтобы людей священный трепет пробрал.

12 тысяч достойны этого. Мы, четверо, стоим на десятом километре. Нам стыдно, невпопад говорим — что, что делать?

Может, газон на месте разбить, плитой перекрыть и бордюр поставить? Да и об именах не мешало бы вспомнить. Не знаем что — но что-то надо делать, и немедленно.

Так я вновь столкнулся с ожившим позапрошлогодним делом № 1586.

Ты куда ведешь, ров?

Вступление

Обращаюсь к читательским черепам:
неужели наш разум себя исчерпал?
Мы над степью стоим.
По шоссе пылит Крым.
Вздروгнул череп под скальпом моим.

Рядом — черный,
как гриб-дымовик, закопчен.
Он усмешку собрал в кулачок.

Я почувствовал
некую тайную связь —
будто я в разговор подключен —
что тянулась от нас
к аппаратам без глаз,
как беспроволочный телефон.

— ...Алла Львовна, алло!
— Мама, нас запесло...
— Слова бури, помехи космич...
— Отлегло, Александр? — Плохо, Федор Кузьмич...
— Прямо, хичкоковский кич!

Череп. Тамерлан. Не вскрывайте гробниц!
Разразится оттуда война.
Не порежьте лонатой
духовных гробниц!
Повылазит страшней, чем чума.

Симферопольский не прекратился процесс.
Связь распалась времен?
Психиатра — в зал!
Как предотвратить бездуховный процесс,
что условно я «алчью» назвал?!

Какой, к черту, поэт ты, «народа глас»?
Что разинул свой каравай?
На глазах у двенадцати тысяч пар глаз
сделай что-нибудь, а не болтай!

Не спасет старшина.
Посмотри, страна, —
сыну мать кричит из траншеи.
Окружающая среда страшна,
экология духа — страшней.

Я куда бы ни шел,
что бы я ни читал, —
все иду в симферопольский ров.
И черпая плывут черепа, черепа,
как затмение белых умов.

И когда я выйду на Лужники,
то теперь уже каждый раз
я увижу требующие зрачки
двенадцати тысяч шар глаз.

Ров

Не тащи меня, рок,
в симферопольский ров.
Степь. Двенадцатитысячный взгляд.
Чу, лопаты стучат
благодарных впучат.
Геноцид заложил этот клад.

— Задержите лопату!
— Мы были людьми.
— На, возьми! Я пронес бриллиант.
— Ты, панаша, не падо
костьми трясти.
Сдай заначку и снова приляг.

Хорошо людям первыми
радость открыть.
Не дай бог первым вам увидеть
эту свежую яму,
где череп отрыт.
Валя! Это была твоя мать.

Это был, это был,
это был, это был,
золотая и костная пыль.

Со скелета браслетку снимал нетопырь,
а другой, за рулем, торопил.

Это даль, это даль,
запредельная даль.
Череп. Ночь. И цветущий мицдал.
Инфернальный погромщик
спокойно нажал
после заступа на педаль.
Бил лопаты металл.
Кто в свой череп попал?
Но его в темноте не узнал.

Тощий, как кочерга,
Гамлет брал черепа
и коронок выдергивал ряд.
Человек отличается от червя.
Черви золото не сдят.

Ты куда ведешь, ров?
Ни цветов, ни сирот.
Это кладбище душ — геноцид.
Степью смерч несетя из паспортов.
И никто не принес гиацинт.

Легенда

Ангел смерти является за душой,
как распахнутый страшный трельяж.
В книгах старых словес
я читал, что он весь
состоял из множества глаз.
И не знал ни Христос,
ни философ Шестов —
почему он из множества глаз?

Если ж он ошибался
(отсрочен вам час), —
улетал. Оставлял новый взгляд.
Удивленной душе
он дарил пару глаз.
Достоевский так стал, говорят.

Ты идешь по земле,
Валентин, Валентин!
Ангел матери тебя спас.
И за то паделил
тебя зреньем могил
из двенадцати тысяч пар глаз.

Ты идешь меж равнин,
повым зреньем раним.
Как мучителец повый взгляд!
Грудь не в блеске значков —
в зрячих извах зрачков.
Как рубашки шерстя!

Ты почамы кричишь,
видишь корни причип.
Утром в ужасе смотришь в трельяж.
Но когда тот, другой,
прилетит за душой,
ты ему своих глаз не отдашь.

Не с крылом серафим,
как випдсерфинг носим,
вырывал и врезал мне язык.
Меня вводит без слов
в симферопольский ров
ангел — Валя Переходник.

Мария Яновна

Звать ее Марья Янна. Гагарина, 6.
Ах, душа Марья Янна, несешь нам поесть!
Гнацинты растишь. Дочке Даше в войну
было 10. Окончила после филфак.
Хохотушка. Веснушки растила. Врача
полюбила. Их первенец Александр,
модно стриженный, как арестант,
стал поэтом. Вчера написала «ЛГ»:
«Новый Пушкин! Дождались мы наконец.
Правда, сложен. Но трудно попасть на концерт».
Жизнь другого сыпка непоятна пока,
основал он ансамбль «ДПК».
Марья Яновны правнучка Анастаси...

...Словно поле-перекати,
череп Мария Яновна мчит по стене,
череп Дашенька — лет десяти.

Алчь. Прежний пролог

Вызываю тебя, изначальная алчь!
Хоть эпоха, увы, не Ламанч.
Зверю нужен лишь харч.
Человек родил алчь.
Не судья ему нужен, а врач.
Друг, болеет наш дух.
Ночью слышите плач?
Это страсть одиночек — алчь.

Алых Медичей плащ.
Острый рост недостат.
Горит ресторан «Имба».
В лучших товарищах — метастазы —
алчба.

Не зарази меня черной кровью,
шприц сирячь,
страсть, соперничающая с любовью, —
алчь!..

— Это алчь, это алчь,
нервородная алчь,
я нужна организму, как желчь,
на костях возвела я аркады палацц,
основала Капберру и Керчь.
Как павдигусь я, алчь,
все окутает мрачь,
будет в литературе помалчь...

Что богаче, чем алчь?
Слаб компьютер и меч.
Да и чем меня можешь ты сжечь?
— Только Речь, что богаче тебя, только Речь,
только пицкая вещая Речь.
— Только Алчь. Только алчь,
бездуховная алчь.

Только «Ал», только «а!..», только «чь».
— Только Речь, только Речь, изначально Речь.
Как река, расправляется речь.

Дело

Ты куда ведешь, ров?

Убивали их в декабре 1941 года. Симферопольская акция — одна из запланированных и проведенных рейхом. Ты куда ведешь, ров, куда?

В дело № 1586.

«...систематически похищали ювелирные изделия из захоронения на 10-м километре. В ночь на 21 июня 1984 года, пренебрегая нормами морали, из указанной могилы похитили золотой корпус карманных часов весом 35,02 г из расчета 27 рублей 30 коп. за гр, золотой браслет 30 г стоимостью 810 руб. — всего на 3325 руб. 68 коп. 13 июля похитили золотые коронки и мосты общей стоимостью 21 925 руб., золотое кольцо 900-й пробы с бриллиантом стоимостью 314 руб.

14 коп., четыре цепочки на сумму 1360 руб., золотой дукат иностранной чеканки стоимостью 609 руб. 65 коп., 89 монет царской чеканки стоимостью 400 руб. каждая... (т. 2 л. д. 65—70)». Кто был в деле? Врач московского института АН, водитель «Межколхозстроя», рабочие, краповщик, два члена партии, местная шинка, прикативший на собственной «Волге», привезенной из заграникомандировки. Возраст 28—50 лет. Отвечали суду, поблескивая золотыми коронками. Двое имели полный рот «красного золота». Сроки они получили небольшие, пострадали больше те, кто перепродавал. Подтверждено, что получили они как минимум 68 тысяч рублей дохода. Одного спросили: «Как вы себя чувствовали, роя?» Ответил: «А что бы вы чувствовали, вышивая золотой мост, поврежденный пулей? Или вытащив детский ботиночек с остатком кости?» Они с трудом добились, чтобы скупка приняла этот бракованный мост.

Вопроса «преступить — не преступить» у них не было. Не пайти в них и inferнального шика шалостей Геллы и Бегемота. Все было четко. Работенка доставалась тяжелая, ибо в основном лежали люди небогатые, так что промышленля больше коронками и бюгелями. Бранились, что металл скверной пробы. Ворчали, что тела сброшены беспорядочной грудой, трудно работать. Один работал в яме — двое сверху принима-

ли и разбивали черепа, вырывали плоскогубцами зубы, — «очищали от грязи и остатков зубов», возили сдавать в симферопольскую скупку «Коралл» и севастопольскую «Янтарь», скупно торгуясь с оценщицей Гайды, конечно смекнувшей, что «коронки и мосты долгое время находились в земле». Работали в резиновых перчатках — боялись инфекции.

Коллектив был дружный. Крепили семью. «Свидетель Нюхалова показала, что муж ее периодически отсутствовал дома, объяснял это тем, что работает маляром-высотником, и регулярно приносил зарплату».

Духовные процессы научно-технического века породили «новый роман», «новое кино» и психологию «нового вора».

По аналогии с массовым «поп-артом» и декадентским «арт-нуово» можно разделить сегодняшнюю алчу на «поп-алчу» и «алчу-нуово». Первая попримитивнее, она работает как бы на первородном инстинкте, калымит, тянет тройку в таксонарке у таксиста, обвешивает. Вторая — сложнее, она имеет философию, сочетается с честолюбием и инстинктом власти.

В первый день процесса, говорят, зал был заполнен пытливыми личностями, внимающими координатам захоронения. На второй день зал опустел — кипулись реализовывать полученные сведения.

Лопаты, штыковые и совковые, прятали на соседствующем сельском кладбище.

Копали при свете фар. С летнего пьеса, срываясь, падали зарницы, будто искры иных лопат, работающих за горизонтом.

Ты куда ведешь, ров?

Скупой рыцарь НТР

Кто почамы под напуганности
зарывает свой талант?

Скупой рыцарь революции
зарывает бриллиант.

Пол-участка заммишировал
скупой рыцарь НТР.

Зарываешь, заммишистра,
свой портфель.

В том портфеле — «Волга», «вольво»,
полстраны и особняк,

твоя бешеная воля,
бывший парень из общаг.

В уши вдев Марио Луци,
презирает тебя дочь.
Скупой рыцарь революции,
посмотри, какая ночь!

«Бриллианты на деревьях,
Бриллианты на полях,
Бриллианты на дороге,
Бриллианты в небесах...»

Сын твой дохнет от поп-арта,
жена копит арт-нуво.
Твой шофер грешит поп-алчью,
тебя точит алчь-нуво.

Утром на крылечко выйдешь
и увидишь страшный сад —
он растет все выше, выше,
с ветвей «видео» висят.

Видно всем бесповоротно,
что закапывал в мечтах.
На вершинах вертолеты
иссут золото в брусках.

На ветвях счета валютные,
их уже не сдать в детсад,
бедный рыцарь революции,
и тебе их не достать.

«Бриллианты на дорогах,
Бриллианты на полях,
Я ошибся — на деревьях,
Бриллианты в небесах».

Куда ведет ценная реакция симферопольского преступления,
зацепленного с людской Памятью, связью времен, понятиями
свободы и нравственности? Повторяю, это процесс не уголов-
ный — духовный процесс. Не в шести могильных червах

дело. Почему они плодятся, эти новорылы? В чем причина этой бездуховности, отрыва от корней, почему сегодня сын выселяет мать из жилплощади, а родители истязают трудно-воспитуемого дитя, привязав к березе в роще? Или это разрыв кровной родовой связи во имя отношений машинных?

Почему, как в Грузии, ежегодно не отмечаем Десь помпирования павших? Память не закопать. «Немецко-фашистскими захватчиками на 10-м км были расстреляны мирные жители преимущественно еврейской национальности, крымчаки, русские», — читаем мы в архивных материалах. Потом в этом же рву казнили партизан. А нажива на прошлом, когда кощунственно сотрясают священные тени?

Боян, Скворода, Шевченко учили бескорыстию.

Почему ныне служащий морга, выдавая потрясенной семье тело бабушки и матери, спокойно предлагает: «Пересчитайте у покойницы количество зубов ценного металла», не смущаясь ужасом сказанного?

«Меняется психология, — говорит мне, щурясь по-чеховски, думающий адвокат, — ранее убивали попросту в «аффекте топора». Недавно случай был: сын и мать сговорились убить отца-тирана. Сынок-умелец подсоединил ток от розетки к койке отца. Когда отец, пьяный, как обычно, на ощупь лежал и искал розетку, тут его и ударило. Правда, техника оказалась слаба, пришлось добивать».

А через два года я буду стоять над страшным оврагом Калитниковского кладбища напротив мясокомбината имени Микояна. **Ты куда ведешь, ров?**

Только двое из наших героев были ранее судимы, и то лишь за членовредительство. Значит, они были как все? В ресторанах они расплачивались золотом, значит, вокруг все знали? Чья вина здесь?

Откуда выкатились, блеснув ребрышками пробы, эти золотые червонцы, дутые кольца, обольстительные дукаты — из тьмы веков, из нашей жизни, из сладостного Средиземноморья, из глубины инстинкта? Кому принадлежат они, эти жетоны соблазна, — мастеру из Микен, недрам степи или будущей ларешнице? Кто потерпевший? Кому принадлежат подземные драгоценности, чьи они?

Мы стоим на 10-м километре. Ничья трава свежееет вокруг.

Где-то далеко к северу тянутся ничьи луга, ничьи рощи разоряются, над ничьими реками и озерами измываются недостойные людишки. Чьи они? Чьи мы с вами?

Йорик

Володя, быть или не быть
частью духовного процесса,
в котором бог, энергосбыт,
не понимает ни бельмеса?

Володя, быть или не быть
свидетелем, как честолюбец,
отрыв при помощи копыт,
в твой череп вводит плоскогубец?

Что там, Володя? Как без шпор
жизнь смотрится? Что там за кадром?
Так называемой душой
быть или не быть? — вот в чем загадка.

Что мучит? Что сказать хотел?
Иль, как бывало, с репетиций
в квартиру нашу на Котель-
ническойходишь подкрепиться?

Сегодня «быть» значит «не быть».
Но должен кто-то убить злое!
Об этом черный до орбит
белеет череп на изломе.

Бедный Володя! Йорик, выйди!
Шесть лет поешь, губ не имея,
богатый тем, что не забыть.
Так кто имеет, не умсет.

Оттуда «быть или не быть»
поешь над непростою родиной,
богатой тем, что не забыть.
Володя, Гамлет подворотен!..
Лишь женщина вздохнет сквозь быт:
«Бедный, бедный Володя»...

«Быть — не быть», «быть — не быть», —
вечный голос окрест.
«Не быть» — заступ долбит, чтоб забыть.
Ты побил старый тест.

Ты, не будучи, есть.
Жаль, что дальше, чем Мозамбик.

Ты куда ведешь, ров?

Что столбы чередой
телефонные говорят?
Будто стайки далеких от нас черепов
изоляторами сидят.

— Серые карие живые вопрошающие детские девичьи женские близорукие бирюзовые невинные влюбленные ангельские масляные смешливые черные жгучие страстные прекрасные всевидящие непротивные бешеные святые голубые невыносимые счастливые всевышние силые —

(золотые холодные комиссионные гранатовые граненые греческие турецкие витринные большие фальшивые изумрудные предсвадебные зябкие подаренные обалденные надетые нагретые родные носимые зацелованные)

— испуганные арестованные заматаившиеся отчаянные жалкие покорные гопимые —

(спрятанные зашитые притаившиеся родные теплые)

— плачущие страшные непонимающие сленные понявшие гневные молящие мертвые —

(зарытые ледяные забытые)

— серые карие наглые оценивающие —

(очищенные золотые магазинные сверкающие заприходованные сторублевые)

— небесные вопрошающие вечные

* * *

Оковы дев, комиссионные обновы,
очищены от стольких лет земли.

Кто вы?
Царицы бала, золушки земли?

Сережек инкрустированный иной,
я помню, как я вас кому-то примерял.
Имя?!
Скажите имя! Имя — бриллиант.

Разлучник-перстень греческой работы
девятисотой пробы, 9 гр —
Кто ты?
Три женщины — две госпожи и одна гр.

Хотя б одну спаси, ров симферопольский!
Дюймовочка, испуганная лишь,
как персик синегокого Серова,
ты сорок лет в жемчужнице сидишь.

Ты станешь продавщицей в жизни новой,
цвичкою, забавой торгашей.
«Кто вы?»
Ты выпрыгнешь в испуге из ушей.

...Несетесь без имен, от нуля зажмурясь, воя,
осыпав по степи обложки паспортов.
Кто я?
Ты куда ведешь, ров?

Исповедь

Никому не должен я ни черта!
Что ж деньгам под землей лежать?
Верещагин в авоське
несет черепа,
как пустую посуду сдавать.

Да, я — гробкопатель.
А вапа мораль
не вскрывала ль великих могил?
Я в крошечный аврал
рук в крови не марал —
разве я их убил?

* * *

Старый тапковый ров,
 где твои соловьи?
 Танго слушает век-волкодав.
 «Если нету любви,
 ты меня не зови,
 все равно не вернешь никогда...»
 А за ним открывается гибельный ров —
 Беломор. Колыма. Магадан...

Супермены, они без дам себя не мыслили.
 «...23 сентября в 20 часов в квартире... предложил гр. Ш.
 купить у него золотую монету царской чеканки достоинством
 10 руб. и назвал цену монеты 500 руб., с целью получить при
 этом наживу стоимостью 140 руб., пояснив, что только за ука-
 занную сумму продаст монету ей. Однако свой преступный
 замысел до конца не довел по не зависящим от него причи-
 нам, т. к. Ш. отказалась покупать монету...»

«...25 сентября в 17 часов, будучи в состоянии алкогольного
 опьянения, в квартире гр. Фасоновой беспричинно, из хули-
 ганских побуждений, громкой нецензурной бранью стал
 оскорблять Фасонову, проявляя особую дерзость, схватил ее за
 плечи, плевал ей в лицо, затем стал избивать ее в помещении
 кухни, наносил удары по туловищу и по другим частям тела,
 причинив ей согласно заключению судебно-медицинской эк-
 спертизы мелкие телесные повреждения, не повлекшие рас-
 стройство здоровья. Свои хулиганские действия он продол-
 жал в течение 20—30 мин., чем мешал спокойному отдыху
 окружающих его людей» (т. 1, л. д. 201—203).

Ты куда ведешь, ров?

Яма

Спрыгнул в яму я. Тень
 обняла меня. День
 был вверху. Череп я увидал.
 Я по рыхлой земле
 сделал шаг в угол, к мгле
 и почувствовал страшный удар...

Я очнулся. Горят
канделябры, трясь.
Подземелье похоже на склад.
Все безглазы. Тот пьет,
запахнув свой трельяж.
— Что тебе? — говорят.
— Новый взгляд!

— Золотую стрельцовскую ногу возьми!
Бей сервизом романовским
об пол палат!
Хочешь, шарик спали?
Хочешь власти, казны?
Что тебе? — говорят.
— Новый взгляд.

Хохотали. Рыдали: «Дегенерат!
Жизнь отдай — и бери. Но немислим возврат.
Проживает поэт
столько жизней подряд,
сколько раз обновляется взгляд».

И я отдал все жизни свои за взгляд.
О, успеть бы разъять
и безглазым раздать!..
И последнее, что я успел увидеть, —
это прежней тебя, и отца, и мать...

«На лопату совковую ты ступил.
И она огрела тебя по лбу».
Я лежу на лугу.
Я смеюсь что есть сил.
Веки режет мне синь.
Как тебя я люблю!

Не сестра моя, жизнь,
а любимая — жизнь,
я люблю твоё тело, и душу, и синь,
как от солнца дрожат,
зажимая мне взгляд,
твои пальчики, черные от маслят!

Ты куда ведешь, ров?

Тени следуют за нами. Слова оживают. В свое время я написал стихотворение «Живое озеро», посвященное закарпатскому гетто, расстрелянному в дни войны фашистами и затопленному водой. В прошлом году я прочитал стихи эти на вечере в Ричмонде. После вечера ко мне подошла Ульяна Габарра, профессор литературы Ричмондского университета. Ни кровиночки не было в ее лице. Один взгляд. Она рассказала, что вся семья ее погибла в этом озере. Сама она была малышкой тогда, чудом спаслась, потом попала в Польшу. Затем в Штаты. Стихотворение это в свое время иллюстрировал Шагал. На первом плане его рисунка ребенок оцепенел на коленях матери. Теперь для меня это Ульяна Габарра. Поэма ли то, что я пишу? Цикл стихотворений? Вот уж что менее всего меня занимает. Меня занимает, чтобы зла стало меньше. Законченный череп на меня глядит. Чем больше я соберу зла на страницы — тем меньше его останется в жизни. Сочетается ли проза с поэзией? А зло с жизнью?

Еще в «Озе» я впервые ввел прозу в поэму, но там у нее была фантазмагорийная задача. Протокольная проза «дела» куда чудовищнее фантазии.

Люди раскрывались, когда я говорил им об этих фактах. Одни делали голубые глаза, другие не советовали ввязываться.

По сей час симферопольским умельцам некие лица заказали изготовить металлокататели по схемам, опубликованным в радиожурнале.

Повествование затягивается. Ров тянется. Новые и новые лица открываются.

Когда этот ужас кончится? Но нет, еще прут, еще...

Ты куда, ров, ведешь?**Советский ракет**

Мотоциклов рокот. Городок над речкой.
Из сберкасы вкладчика ведут взашей.
Милицейский ракет, милицейский ракет
раскошеляет торгашей.

Это преступление огорошивало.

Начали на спор.

А того, кто роищет, пытали в роце —
фарами в упор.

«Что дерешь за джинсы, Капитолина?»
«А каждому начальничку — в лапу, плиз?!»
Где тут пережитки капитализма?
Их деды не застали капитализм.

Мальчики-лимитчики, чем вас зациклило?
Бездны подсознания — не «ать-два».
В демонских крылатках на мотоциклах
тысячелетняя летит алчба.

Но на то законы, чтоб срывать погоны.
Городок от слухов оцененел.
Без ремня выводит на моционы
милиционер — милиционер.

Реакция госмужа

«Государственный муж,
я не помню, где уж —
в Ленинграде? В Ташкенте? В Москве? —
мне внесли миллион,
благодарственный куш,
в упаковке цветного ТВ.

Что я видел, глядя
в этот страшный экран, —
Сочи, женщины, этап за Урал?
Указания какие
по ходу программ
по привычке давал?

Что ты знаешь о муках моих,
зубоскал?
Я вассал, против власти восстал.
Государственный муж,
вместо принятых кляч
я завел любовницу — алчь!

Был я карлик.
Но снесь во мне выла — покажь!
Я на свадьбах крушил Эрмитаж.
Я лежал на полу,
сам себя наградя.

Словно в луже, во мне
отражалась звезда.

«Вор в законе» смешон.
Я и вор и закон.
Я тебя в черный список внес.
Хоть любил твою песенку про миллион,
миллион, миллион глупых роз.
Где ты видел у наших людей черепа?
Перестань клеветать!
Я бульдозером сгреб бы сокровища рва —
вместе с Валею бы сгреб его мать.

Ты всю жизнь обличал меня в гнусных стихах.
Я тебя запрещал, присуждал к бичу.
Я тебя читаю исподтишка.
Но я свой телевизор еще включу».

Пародийное

«Наш завод без наград. Он опять заскучал.
Меня шлет агрегат закупать к фирмачам.
Жру ликер. «Шари» беру. Я почти как в раю.
Снял игру! Договор не подписываю.

Фирмачи пошли пятнами по щекам.
— Провоцировали? — Да еще как!
Там в витринах виски и ветчина
и прочая антисоветчина.

Он опять без наград заскучал, наш завод.
Закупать агрегат к фирмачам меня шлет.
Как в раю! «Шари» беру, «Дживиси». Жру ликер.
Снял игру! Не подписываю договор.

Заскучал наш завод без наград
он опять к фирмачам меня шлет
агрегат покупать
жру ликер
фен все
мью дживиси шарп беру
договор не подписываю
снял игру

Заскучал наш завод. Он опять без наград...»

Новый взгляд

Что хочу? Новый взгляд,
так что веки болят.

Что хочу? Репессанс.
Стань, Одесса, Рязань,
духовной Тосканой для нас!
Чтоб потомкам не алчь
мы оставили — ярчь,
как Блаженного апанас.
В «Новой жизни», как злак,
зелепел новый взгляд.
Новый взгляд породил Репессанс.

Новый взгляд! Новый взгляд
не присмлет сатрап,
в этом Федоров мне собрат.
20 млн близоруких, слепых вполне.
Прорезастся зренья в стране.

Я приехал к нему
еще в травлю и свист.
Он похож на бобра. Некрылат.
В робе, как космонавт,
запустив свежий твист,
он пилоту врезал повый взгляд.

Я хочу, чтоб ушла
человечья пужда,
не дожить до получки когда.
Нет эпохи палочной деревень,
когда шел «за палочку» трудовень.

Разве алчь, если хочется жить по-людски?
Если только не алчна душа,
что создал, получи — от машины ключи
и брильянт в нефальшивых ушах.

Каждой женщины ласково-трудная жизнь
непрерменно должна быть одета,
если почью — в Веласкеса кисть,

если днем —
то в костюме от Кардена.

Одеваясь, живя, страдая,
достигайте уровня мирового нестандарта!

(Одеколон «8-е Марта»
перекрыл все мировые нестандарты.)

По дорожке бежит
мировой нестандарт.
Загорая, лежит
мировой нестандарт.

Мировой нестандарт
поступил в дефицит.
Молодой Пострадам
педсовету дерзит.

Мне дорожке ондатр
среди ярких снегов
мировой нестандарт
нестандартных умов.

Не поймет костоправ
новых мыслей порой.
Победит, пострадав,
нестандарт мировой.

Если алчье со временем собирается в золото, то, думаю, бескорыстность собирается художниками и становится ценностями духовными.

Диагноз

Год уже, как столкнулся я с ужасом рва.
Год уже, как разламывается голова.

Врач сказал, что я нерв застудил головной,
хожу в шалочке шерстяной.

Джуна водит ладонями над головой,
говорит: «Будто стужей несет ледапой!»

Оппонент мой хрюкает, мордой вниз:
«Говорил я, что холоден модернизм».

Неужели застуда идет изнутри?
И могильная мысль может мозг изнурить?

Во мне стоны и крик, лютый холод миров.
Ты куда ведешь, ров?

Схватка. На воскреснике

Лязг зубов и лопат. У 10-й версты
нас закапывают мертвецы.
Старорыл с поворылом,
копай за двоих!
Перевыполним план по законке живых!

Труд как в тропиках — до трусов.
Аэробика мертвецов.
Кто свой палец отсек, кто идет вперед.
Кто хоронит модерн,
кто копает под МХАТ.

Дери, как правду, — вверх дном! —
Первый кто бросит ком?
Вслед их ведьмы летят на лопатах верхом...

Справедливый плакат водружен над шестом:
«МЕРТВЕЦОВ — БОЛЬШИНСТВО,
А ЖИВЫХ — МЕНЬШИНСТВО».
Поживей прохришим:
«Панихиду живым!»

Я улыбок зубастых не знал широчей.
Аллудийчик — теперь мастер смелых речей.
Жмут с лопатой грейдерной, мудрецы.
Законают страну — только не удержки!

По живой поднимается землекоп
впередхват мертвецам —

Пастернак, и — горбат от лопат — Смеляков,
и сажающий вишню пацан.

Мертвецы и творцы, мертвецы и творцы —
вечный бой: вечный риск, вечный дух!
Искры встречных лопат от Тверцы до Янцзы,
схватка мертвых лопат и живых.

Пастернак, ты терповник к забору садил,
бескорыстные брюки заправив в сапог.
И варнак не достал тебя меж светил.
Стал лопаты венец — твой венчик.

Как он в слове весом,
мой неалчный народ.
Не случайно венцом
он лопату зовет.
Поднимите ее вверх венцом над собой —
вы увидите женщину с русой косой.

Отвернулась спиною.
Глядит на закат.
До земли опускается стержень косы.
За тебя на закате
сраженья кипят —
мертвецы и творцы, мертвецы и творцы.

Это все матрици-
рует «аз, буки, рцы»
на холстах плащаниц, в адресах медресы.
Есть две нации — как ты ни мельтеши —
мертвецы и творцы, творцы и мертвецы.

Я живу невпопад.
За удары — мерси!
Но за новый твой взгляд мои годы летят.
Уходящего века читаю кресты
в инициалах скрещенных лопат.

У отверстой версты
мертвецы и творцы.
Нет границы у бытия.
Века двадцать какого-то об изразцы
обломилась лопата моя.

Финал

Жизнь — сюжета финал.
Суд порок наказал.
Люд к могиле спешит. Степь горчит.
К ней опять скороход
в трянке заступ несст.
И никто не несст гиацинт.

Эпилог

Век пришедший суров.
Край бомжей и воров.
Ты куда привел, Ров?

— Я вижу у вас на столе многие сотни читательских писем, присланных после поэмы. Давайте почитаем их. «Ваш «Ров» меня потряс, изранил душу и наполнил возмездием. Да будет литература русская Возмездием всякой сволочи!.. Представляю, чего Вам стоила эта поэма», — пишет женщина из Фрунзе. «Поэма пробуждает совесть. Как жутко то, о чем вы пишете, как страшно, когда люди перестают быть людьми и только «умеют жить». Спасибо, что вы бьете в набат против алчности и душевной глухоты», — пишет А. Данилов из Кемерово. «Всегда на острие, неравнодушно, с болью, но чтобы после поэм принимали меры — это ново» — слова В. А. Кузнецовой из Ленинграда. Пам важно в первую очередь разобраться — как появились среди нас те, кого и людьми-то назвать тяжко?..

— Процесс юридически закончен. Но кара оскорбленных теней 12 тысяч еврейских жизней, расстрелянных геноцидом и вторично убитых гробокопателями, на этом не кончается. Совершенное ими — не просто преступление, а то, что называют издавна в народе глубоким словом: «грех». Грех перед памятью невинно убиенных, грех перед смыслом своей краткой человеческой жизни. Перед ребенком, которого сейчас носит под сердцем единственная в этой преступной группе женщина. Как могла она, нося пульсацию детского сердца в себе, сама нести его к трушной бездне?

Разве только преступление, когда Рыжов и Каидыба заказали и послали перстни из зубов убитых? Или когда отпущенный Нюхалов сомнамбулически шел при почных фарах доставать скелеты и разбивать черепа? Это — наркомания жесткости. Мне рассказывали, что местопахождение захоронения гробокопатели узнали от бывшего полицейя, который отсидел положенный срок и вышел на свободу. Ему бы о душе подумать. Но он продал место казни. Кажется, за 30 тысяч. Понятие греха выпало из нашего обихода.

От Еврипида с его «Жизнь есть смерть, и смерть есть жизнь» до Плотина и русских философов, люди мучаются проклятыми вопросами. Забвение философии и именно философии вопросов, подмена ее пересказом на уровне отрывного календаря стандартных стереотипов становится причиной душевного отупения. Человек должен сам найти истину, выстрадать ее, а не вызубрить и забыть сразу после экзаменов.

Хотелось написать поэму так, чтобы она была рамой факта, чтобы стихи не отвлекали, чтобы у читателя осталась в сознании не «язвущая словесность», а чудовищность факта.

— *«Когда я был тяжело ранен на фронте, я не плакал от боли. Когда читал поэму, плакал сам, плакала моя супруга — участница Великой Отечественной войны», — пишет М. Бендик из Харькова. Судя по всему, поэма давалась нелегко, выстрадано?»*

— Писать было тяжело даже физически. Сам я не из слабонервных, всякое видел. Но после увиденных разбитых черепов и детских волос я не мог примерно месяц заснуть. Человеческий разум, наверное, не рассчитан на подобные перегрузки. После «Рва» до сих пор не могу написать ни одного стихотворения. Видно, нервы обожглись.

Все казалось безысходным после этой истории.

Читательские письма не только хотят перемен, но стремятся в них участвовать, люди меняются сами. «Я хочу правды.

Я голодный», — пишет молодой поэт из Химок К. Седунов.

Участник войны из Инты Долинов требует поставить памятник жертвам сталинских репрессий. «Требуется нравственное очищение» — таково кредо инженера из Свердловска.

Письма читателей становятся новой поэмой, главы которой состоят из разных судеб, исповедей. Возмущаясь изуверством, каждый ставит свои вопросы. Вот одно из писем молодых с обратным симферопольским адресом: «Комсомольский студенческий отряд просит сообщить номер счета, куда можно перечислить свыше тысячи рублей заработанных нами денег в фонд строительства Поля Памяти на 10-м километре. Приняли это решение, прочитав «Ров». Вот пишут из Днепропетровска: «Мы настолько заболели Вашей поэмой, что сейчас создаем при ДК железнодорожников театр-студию «Магистраль». Мы мечтаем показать спектакль «Ров» не только в стенах нашего ДК, но и на сцене других Дворцов культуры и клубов. А если нам предоставят возможность, то и в Чернобыле и в Симферополе. Если будут платные спектакли, то весь сбор от них перечислим на счет № 904».

Порой о новых явлениях мыслят шаблонно, старыми стандартами. Сколько времени хотели видеть лишь варварство и бездушие «иронического поколения», обвиняя его в эгоцентризме, инфантильности, корысти.

Интересный клуб поэзии создан сейчас в Москве, первый клуб на хозрасчете. Поэты там не просто читают свои стихи, но устраивают хепшининги вместе с музыкантами и художниками. Они предполагают издавать сами стихи молодых. Душа клуба — яркий поэт Н. Искренко. У них есть идея читать стихи с дельтаплана. Интересны Ю. Арабов и И. Кутик.

А 30-летняя Марина Д. соглашается: преступление грабителей ужасно и кощунственно. И тут же предлагает отрыть ров на официальной, так сказать, основе, просеять, выбрать золото, а на эти деньги «соорудить мемориал, посадить роз или что-то в этом роде»...

— Наверное, лучше всех этой практичной девушке, которая хочет выгрести золото из скелетов, ответит своим письмом Р. Молдовалова: «Несколько дней мы с мамой перечитывали каждую строку поэмы — все пережитое стоит перед глазами. Я в возрасте 15 лет с мамой чудом спаслась во время расстрела. 2 ноября 1942 г. нас собрали на стадионе, более 3 тысяч стариков, детей и расстреливали в противотанковом рву под Ростовом-на-Дону... Там остался мой отец...»
Ей вторит читательница из Омска: «Моя бабушка тоже была расстреляна фашистами и похоронена в братской могиле в Прилуках, — она просит рассказать, как появился образ Высоцкого в поэме?»

Читательницу из Уфы восхищает музыкальная оркестровка поэмы. Может быть, вы откроете свою лабораторию?

— Ритм поэмы — это дробные синкопы — я не выдумывал, он как-то сам зазвучал, может быть, повторяя ритм сапог, стук лопат грубокопателей и лопаты бедного заммишистра, зарывающего на даче свой клад. Потом оказалось, что, может быть, этот ритм в крови нашего века — как ямб стал ритмом «века девятнадцатого, железного», оркестрованного снежной мазуркой, — ведь именно он прорывался в мапдельштамовском «веке-волкодаве» и «квадрате» Северянина, им написано популярное довоенное танго, вернувшееся ныне в наш обиход, а откуда-то из могильных глубин ему отстукивают баллады Жуковского. Сам я уже брал ранее этот размер — в «Двадцатый окопился век». Этот размер таит парадоксальность нашего времени. Все это я понял, конечно, после того, как поэма была написана.

— Много писем о чернобыльских главах. Несколькo из Киева. Харьковчанка пишет: «Ежедневно моя под краном по нескольку раз салат и овощи, читало на память Ваши строки из давнишней «Кабаньей охоты», предрекающие гибель живой природы:

Собратья печальной литургии,
Салат, чернобыльник и другие...

Почему Вы написали «чернобыльник»? Сейчас многие говорят, что «чернобыльник» — это значит «попынь». А звезда «Попынь» в Библии предрекала гибель растений, людей и вод. Неужели Ваши стихи все это предсказали?»

— Сейчас во всех московских салонах говорят о Звезде Попынь. Недавно даже один из владык нашей церкви в Литгазете опровергал это, указав, что человеку не дано предвидеть будущее и дату конца света. Что касается стихов, то, думаю, они в этом неповинны.

Многие письма спрашивают, как сложилась жизнь Переходника, выброшенного матерью из страшной маппыши. Его нашли и выходили местные жители. Он инженерствует. Двое сыновей — одному 29 лет, другой в 10-м классе — талантливый скрипач. Но какой-то рок довлeет над семьей. Его двоюродная сестра, живущая в Москве, рассказывает: па дних сын-десятиклассник обнаружил в кармане зажигалку, видно кем-то подложенную. Дома он попробовал зажечь ею газ. Раздался взрыв. Стоящий рядом старший брат получил 40 осколков. Юному скрипачу оторвало пальцы на руке. Он — в больнице сейчас. Наркомания жестокости? Забавы ПТР? Или что еще?

— *Критика уже отмечала неожиданную точность образа «ангел смерти является за душой, как распянутый страшный трельяж». Когда-то в «Собикалмпсисе», работая на черном юморе, вы шутили, что тело, состоящее из множества глаз, выгодно для фабрикантов, выпускающих очки. В этой поэме не до шуток. Какова генетика образа этого ангела?*

— Ангел этот витает над многими. В «Откровении Иоанна Богослова» говорится о том, что все тело его состоит из глаз. Бунин был потрясен, прочитав легенду эту, трактованную Л. Шестовым в книге «На весах Иова». Как записано в дневнике Г. П. Кузнецовой, Бунин хотел вставить легенду эту в свой роман. Впоследствии, в книге «Освобождение Толстого», Бунин писал: «По, читая ее, думаешь о Толстом: если уж кто

наделен был двойным зреньем и именно от ангела смерти, слетевшего еще к его колыбели, так это Толстой». Шестов же отпустил это к Достоевскому, считая, что ангел смерти посещал его и дал второе зренья — но не во время казни петрашевцев и не на каторге, а в «Записках из подполья».

Думаю, что этот ангел посетил Ленни Бернштейна, когда тот решил написать рок-оперу по поэме «Ров». Прочитав ее, он прислал мне телеграмму, он хотел соединить темы рва и Холокоста. Увы, он умер, не успев осуществить замысел — видно, ангел помешал.

Оставив реальную фамилию спасшегося из смерти симферопольца — Переходник, я изменил его имя. Также пришлось изменить имя, отчество и фамилию реального таксиста, который возил нас на 10-й км и рассказывал подробности. Увы, сделал я это не из литературных или мистических соображений — просто называть фамилию было небезопасно для него. Думаю, сейчас ее уже можно назвать. Зовут его А. Ф. Волков. Рок витает над живущим в Симферополе Переходником. Бабушка и дед его убиты Петлюрой. Вся семья его погибла во рву.

Мать спасла его, выкинув на ходу из роковой машины. Сама погибла во рву — правда, не в симферопольском, как считал таксист, а в Минводах — вот куда ведет симферопольский ров.

— *Кстати, Л. Д. Болотовский из Омска ловит вас на неточности: «Читаю, что таксисту «лет эдак шестьдесят», а далее говорится, что в 41-м году ему было 10 лет. Если ему сейчас 60, то в 41-м было не менее 15-ти. Или ему было 10, а сейчас 55». Правда, потом автор письма восхищается стихами о Байкале и называет вас большим русским поэтом. Это характерно для всех четырех критических писем в адрес поэмы. Авторы одним восхищаются, другое резко не принимают. Уже упоминавшийся К. Седунов: «Считаю гениальной строку «Байкал — ты хрустальная печень страны». По в «Венской повести» — при такой силе художественного изображения — такая растерянная позиция автора. На самом деле Ваша баба проститутка (тут автор письма допускает более краткую характеристику) и есть. Как и многие из нас. Зря она сомневается, философствует... Читаю прекрасные умные слова: «Поднесут ли лютки к столетию научно-технической революции?» Я, как и многие, отношусь к НТР с некоторой брезгливостью. Радуюсь строчкам. И вдруг через несколько строчек назвали Сухареву башню ненавистным словом НТР. Непоследовательность...»*

Кстати, акад. А. Яшин считает, что ваши напечатанные стихи о Байкале сделали больше, чем сотни писем и докладов в защиту озера.

— Наверное, сказав, что таксист «эдак лет шестидесяти», я, может быть, ошибся. Но, может, он просто плохо выглядел? Я не спрашивал документов. Да и пережил он многое. Несогласие читателя приветствую — у всех должны быть свои взгляды. Главное, чтобы думали.

Вероятно, есть и более серьезные неточности. Например, замком партизанского движения Крыма Г. Л. Северский считает, что жертв было более 20 тыс. Но так в архиве.

— *Читательница из Караганды рада: «Чтобы после поэм сразу реагировали и возводили памятник — этого никогда еще не было, это новое, это прекрасно...» Но некоторые письма звучат как предупреждение: вызубрив новые слова, противники перемен в сути своей остаются прежними...*

40 лет назад Л. Сейфулина писала в гневном очерке «Уцелел один»: «Симферополь превратился в сплошной застенок и отвратительную человеческую бойню. 9 декабря 1941 года немцы истребили древнейшее население Крыма — крымчаков.

11, 12, 13 декабря расстреляли всех евреев. Немцы зарегистрировали в Симферополе 14 тысяч евреев... Их смертный стон подряд трое суток стоял и в Симферополе, и в окрестностях... Один уцелел. Из четырнадцати тысяч человек — один». Его укрыл от расправы русский плотник.

О сегодняшнем преступлении печать молчала. Табу.

Лишь после поэмы в газете за 28 сентября напечатана статья о преступлении, связанном со рвом. Жаль, что местная печать впервые обратилась к этой теме за все два с половиной года, пока длилось преступление. Ведь первый процесс прошел более двух лет назад. Все эти годы город был полон слухов, и люди хотели знать правду. Но в печати не было ни слова. Сознает ли она этот свой грех?

— *Кстати, вот еще одно симферопольское письмо от Б. Ачкинази, краеведа, который занимается историей рва: «Разрешите мне от имени тех, чьи родители, родственники, друзья лежат во рву, выразить Вам благодарность за поэму. Читая спокойно, без душевного трепета нельзя. Она заставляет думать и, главное, что-то предпринять сейчас, немедленно. Мне хотелось бы поделиться с Вами собранными сведениями: ведь этот ров стал могилой не только евреев, крымчаков, жертв геноцида. Это большинство жертв. Но там были расстреляны и подпольщики, семьи советских работников,*

*военнопленные. Ваше предложение о сборе имен погибших
современное и актуальное.*

*Г. Л. Северский свидетельствует, что во рву также были рас-
стреляны лица из «синей тетради» — известные люди горо-
да — проф. Балабанов, актер Смоленский и др. После вашей
поэмы начат сбор имен — создается история рва.*

К сожалению, история эта оказалась не только исторической:
ров вел не в прошлое, а в будущее. И сегодня оглянитесь —
мы живем среди рва, внутрь которого мы попали. Навными
и детскими кажутся преступления этой горстки людей перед
нынешним беспределом. Неужели поэма оказалась пророчес-
кой?

Александр Николаевич Яковлев, в свое время помогший по-
эме, подарил мне фотографию рва с надписью, очень смелой
по тем временам: «Это место, где страшное преступление со-
вершалось дважды — однажды гитлеровскими преступника-
ми, а второй раз — советскими людьми». Что-то напишут на
фотографиях наших дней?

**Чувствую —
стало быть существую**

участье к любой пичуге,
но главное — нежность к детям.
Под дудочку без оглядки
тапцуют в полях посжатых
грузинские ангелята —
грузинские медвежата.

III

Вы — дочь народа великого.
Что с вами сегодня стало?
Может, вы, утомившись,
склонились на руль «мустанга»?
Вы — дочь народа великого.
Но знаете ль, грустнолицая,
что есть крохотная Колхида —
обитель великих рыцарей?
Вы выросли, стали матерью,
вас манит жизнь впереди,
спасенная воздухом,
выдохнутым
из грузинской груди.
Паря на бесшумных шинах,
вы счастливы, очень счастливы,
но спасшего вас мужчину
вы вспоминаете часто ли?
Он каждую ночь вам снится.
Он вас беспокоит, ибо
спасательный круг струится
над ним милосердным пимбом.
Когда-нибудь приезжайте
в наши пенаты, дочка,
здесь люди гостеприимны —
как он, такие же точно.
Любимая моя Грузия!
Жертвенная страна.
В море, как круг спасательный,
покачивается луна.

* * *

Словно ввели в христианство тебя,
роица, омытая будто язычица.
Как звонко эхо после дождя!
Как после слез твое сердце отзывчиво!

267
Чувствую —
стало быть существою

Ядерная зима

(из Байрона)

Я перевел стихотворенье «Тьма» —
как «Ядерная зима».

«I had a dream which was not all a dream»...¹
*Я в дрему впал. Но это был не сон.
Послушайте! Нам солнце застил дым,
с другого полушария несом.
Похолодало. Тлели города.
Голодный люд сковали холода.
Горел лес. Падал. О, земля сиротств —
Rayless and pathless and the icy Earth»...²
И детский палец, как сосулька, вмерз».*

Что разумел хромающий гяур
под понижением температур?
Глядела из промерзшего дерьма
ядерная зима.

Ядерная зима, ядерная зима...
Наука это явление лишь год как узнала сама.
Превратится в сосульку
победившая сторона.
Капюца снял мне с полки байроновские тома.
Байрона прочитайте! Чутье собачее строф.
Видно, поэт — барометр
климатических катастроф.

«I had a dream», — бубнил, как пономарь,
поэт. Никто его не понимал.
Но был документален этот плач,
как фото в «Смене» или «Пари матч».
В том восьмьсот пятнадцатом году
взорвался в Индонезии вулкан.
И всю Европу мгла заволочла

¹ Я видел сон, который не был только сном (англ.).

² Без света, без пути олодевшая земля (англ.).

от этого вулкана. Как в бреду.
«Затмение сердца, — думал он. — Уйду».

Он вышел в сад. Июнь. Лежал в саду
пятнадцатисантиметровый снег.
И вдруг он понял, лишний человек,
что страсть к сестре, его развод с женой —
все было частью стужки мировой.
Так вот что байронизмом звали мы —
предчувствие ядерной зимы!
(И Мэри Шелли ему в тот же день
впервые прочитала «Франкенштейн».)

Свидетельствует Байрон. *«Лета нет.
Все съедено. Скелета жрет скелет,
кривя зубопротезные мосты.
Прости, любовь, земля моя, прости!*

«I had a dream».
Леса кричат: «Горим!»
Я видел сон... А люди — жертвы псов.
Хозяев разрывают на куски.
И лишь один, ослепнув от тоски,
хозяйки щеку мертвую лизал,
дышал и никого не подпускал.
Сиротский пес! Потом и он замерз.
«Rayless and pathless and the icy Earth»
Ты был последним человеком, пес!»
Поэт его не называет «dog».
То, может, Бог?
Иль сам он был тем псом?

«Я видел сон. Но это был не сон.
Мы гибнем от обилия святых,
несвято спекулируя на них.
Незримый враг торжествовал во мгле.
Горело «Голод» на его челе».
Тургенев перевел син слова.
Церковная цензура их сняла,
быть может прочитав среди темнот:
«Пастанет год, России черный год...»
«Как холодает! Гиды из глубин

*повылезали. Очи выел дым
цивилизации. Оголодал упырь.
И человек забыл, что он любил.*

*Все опустело. Стало пустотой,
что было лесом, временем, травой,
тобой, моя любимая, тобой,
кто мог любить, шутить и плакать мог —
стал комом глины, а мока комок!*

*И встретились два бывшие врага,
осыпав пепел родины в руках,
недоуменно глянули в глаза —
слез не было при минус сорока —
и, усмежнувшись, обратились в прах».*

С. П. Капица на телемосту
кричал в глухонемую пустоту:
«От трети бомб — вы все сошли с ума! —
наступит ядерная зима.
Погубит климат ядерный вулкан...»
Его поддерживает Саган.

Вернемся в текст. Вокруг белым-бело.
Вулкана извержение привело
к холере. Триста тысяч унесло.
Вот Болдина осеннее село,
где русский бог нам перевел: «Чума»...

Ядерная зима, ядерная зима —
это зима сознания, проклятая Колыма,
ну, неужели скосит, — чтобы была нема, —
Болдинскую осень ядерная зима?!

Бесчеловечный климат заклипленного ума,
всеобщее равнодушие, растущее, как стена.
Как холодает всюду! Валит в июле снег.
И человеческий климат смертен, как человек.
Станет Вселенная Богу одиночкой, как тюрьма.
Богу снится, как ты с ладошки

земляничкой кормишь меня.

Неужто опять не хлынет ягодный и грибной?
Не убивайте климат ядерною зимой!

Если меня окликнет рыбка, сверкнув как блиц,
«Дайте, — отвечу, — климата
человеческого без границ!»

Модный поэт со стопом
в наивные времена
понял твои симптомы,
ядерная зима.
Ведьмы ли нас хоронят
в болдинском вихре строф?
Видно, поэт — барометр
климатических катастроф.
Пусть всемогущ твой кибер,
пусть дело мое — труба,
я протрублю тебе гибель,
ядерная зима!
Зачем же сверкали Клиберн,
Рахманинов, Баланчин?
Не убивайте климат!
Прочтите «I had dream»...

Я видел сон, which not all a dream.
Вражда для драки выдирает дрын.
Я жизнь отдам, чтобы поэта стои
перевести: «*Все это только сон*».

Во время взлета и перед бураном
мои душа и уши не болят —
болит какой-то совестибулярный
неясный для науки аппарат.

Когда, снижаясь, подлетаю к дому,
я через дно трепещущее чую,
как самолет жестяною ладонью
энергию вбирает полевою.

Читаю ль тягомотину обычную
или статьи завистливую рвотину,
я думаю не об обидчике —
что будет с родиной?

Неужто и она себя утратит —
с кукушкой над киржацкою болотиной —
и распадется, как Урарту, —
что будет с родиной?

По административная система —
блеск ее верст на спининги намотанный.
Она за белой церковью синела
перациоактивною смородиной.

Я не хочу, чтобы кричала небу
чета берез, белеющих в исподнем.
Отец и мать в моих прослулись генах:
«Что будет с родиной?»

Завгар, ты — дружинник и член партбюро,
лицо твое в прессе почет обрело.
Выходишь ты в полночь, в кармане сжав гирю, —
«Опять изнасилованную
убили!»

Спи мирно, держава. Дорогами слез
гуляет Варавва и ходит Христос.

По области сперму берут на анализ.
Сознались два нервных. Рок-группа создалась.
Но телеграфирует новая ночь —
убита с подругою твоя дочь.

Пирует с дружиною страшный завгар.
И молится мальчик на воле закал.
Повсюду мерещится крик из-под кляпа:
«Папа!»

По области почерк берут на анализ.
Расстрелян один. Еще десять сознались.

— Скажи мне, прохожий, а ты не Варавва?
— Зачем мне, дружинник, делить твою славу?
Да разве облаваю схватишь в снегах
присутствие дьявола в наших шагах?..

Я городом шел, где забытый Шагал.
Стояла тюрьга у края оврага,
верней монастырь, превращенный в тюрьгу.
Там вост в наручниках страшный завгар.

Неужто мы жили, молясь на Варавву?..

Прости нас, Боже правый!

Я открываю красоту
не как иные очевидцы —
лишь для того ее найду,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ль черносливной косточкой
край Корсики с полета птицы,
мне сразу возвратиться хочется,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ли на небе ноготь,
Тобой остриженный, прилипший,
и сердце начинает екать,
хоть всем не скажешь из приличий.

Дождливый ежик по тропе
мерцает, световоды будто.
Я все равно вернусь к Тебе,
хотя пути уже не будет.

Зрачки наполнив красотой,
чтоб не пролить, сожму ресницы.
К Тебе я добреду слепой,
чтобы собою поделиться.

Совсем иная тишина
та, что предшествовала слову —
чем поцелованная словно,
что музыкой напоена.

Выбегает утром на бульвар
человек породы сенбернар.
Он передней лапой принадал,
говорили, — будучи в горах,
прыгнул за хозяином в завал
и два дня собой отогревал.
Сколько таких бродит по Руси!
Пес небесный, меня спаси.

Я его в компаниях видал.
Неуклюжий и счастливый раб,
нас сквозь снег до трапа провожал,
оставляя отпечатки лап.
Сенбернар, подбрось в аэропорт!
Сенбернар, стойняй за коньяком!
И песется к вам во весь опор
верный пар над частым языком.

Изо всех людей или собак
сенбернары ближе к небесам.
Мы не знали, где его чердак.
Без звонка он заявлялся сам.
Может, то не лапы, а пасси!
Пес небесный, меня песи.

Пес, никто не брал тебя всерьез.
Но спасал, когда нас забывал
человек по имени Христос,
человек породы сенбернар.

Вдруг в одной из наших Галатей
он увидел бедственный сигнал
и, как в пронасть, бросился за ней.
Брось! Будь человеком, сенбернар.

Позабыл, что взят ты напрокат.
Наша жизнь — практически буря!
Женщинам не надо серенад,
был бы на подхвате сенбернар.

«Я родился быть твоим рабом,
волочить из бездны на краю.
Только жизнь тебе я подарю
на снегу, от вмятин голубом».
«Будь же человеком, дуралей!
Разбудил. Замучил. Отдышал.
Ты — четвероногая метель,
мой уже последний перевал».

Для других спасает сенбернар.
Человек влюбился для себя.
Мы на возмущенный семинар
собирались, кару торопя...

Он пришел. Нашарил в кухне газ.
Снял опейшик. Музыку врубил.
И лежал, не открывая глаз,
пока сенбернара не убил.
С той поры в компаниях пропал
человек породы сенбернар.
Как метель гуляет по Руси!
Пес небесный, меня прости.

Успеть бы свой выполпнить жребий,
хотя бы десятое спеть,
забвнное слово «свобода»
по-русски осмыслить успеть.

Успеть бы издать Ходасевича,
суметь не продаться за спедь,
в метель — обнаженную розу
к ногам Твоим бросить успеть.

Сжать мышцы брюшные железпо,
когда тебе врежут под дых,
не дать запороть иноходца,
жеребчика из молодых.

Такси с петушиным гребнем
уже кукаречит чуть свет —
спешит ежедпевный мой жребий
к удмуртам и в Витебск успеть.

Успеть бы исполнить свой жребий
на флейте пронзительных дней,
не списанной флейте надежды,
на внутренней флейте Твоей.

Не мысль толпе на потребу,
но именно потому,
успеть бы свой выполпнить жребий
пароду помочь своему.

Утица, сбита камнем туриста,
билась в волне.
На руки взял я строптивую птицу.
«Что же творится?» — подумалось мне.

С пошею шел я в ночи и позоре.
Мне попадались стада и дома.
Их ли вина, что на нервах мозоли?
«Что же творится?» — не шло из ума.

Клювом исколот я был, как Рахметов.
Теплая тяжесть жалась к душе.
Было до города пять километров.
Фельдшер жила на втором этаже.

Вдруг я узнал в незнакомой квартире
каждую комнату, как укор.
Прошлой зимою тебя прихватило.
Тебя приводил я сюда на укол.

Та же в дверях фельдшерица со шприцем.
Та же подушка в разбитом окне.
Я, как убийца, протягивал птицу.
«Что же творится?» — думалось мне.

Берег

Здесь отпечатки пальцев птичьих
на утренних песках лежат —
как треугольнички девичьи
от испарившихся наяд.

279 Чувствую —
стало быть существо

Хула и похвала

Поэт не имеет опалы,
спокоен к награде любой,
Звезда не имеет оправы
ни черной, ни золотой.

Звезду не убить камнями,
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.

Важны не хула или слава,
а есть в нем музыка или нет.
Опальны земные державы,
когда отвернется поэт.

Критику

Не верю я в твое
чувство к родному дому.
Нельзя любить свое
из ненависти к чужому.

Снимите личины, статисты речистые —
пречистого знамени слуги печистые!
Во имя чего заклинанья «во имя» —
во имя добра с сундуками своими?
Терзают природу во имя науки
пречистого Разума грязные руки.
И мучают слух второгодние школы
Греча, Булгарина и Шишкова.
Очнитесь, взгляните хотя бы на численник,
пречистого Пушкина стражи печистые...
Да если бы Пушкин, кем пынче божитесь,
явился бы к вам, второгодники-витязи,
кому б он поведал строфу заповедную?
Конечно, не с вами б он был, а с поэтами...

Я выпрыгнул в грузовик, идущий к побережью.
Шофер длинноволос, совсем еще дитя.
На лобовом стекле — изображение Цезаря.
Садясь, я произнес: «Приветствую тебя!»

Что знаешь ты, пацан, о Цезаре по сути?
Что значит талисман? Что молодость слепа?
Темнело. По пути мы брали голосующих.
И каждый говорил: «Приветствую тебя».

«Приветствую тебя», — леса голосовали.
И сотни новых рук хватались за борта.
И памятники к нам тянулись с шестидесяти.
«Убитые тобой приветствуют тебя».

А Цезарь пролетал, глаза от ветра сузив.
Что ты творишь, пацан, срывая скорость?
Их всех не уместить в твой пятитонный кузов.
Убитые тобой преследуют тебя.

Отец твой из земли привстал благоговейно.
Сидело за рулем убитое дитя.
И хор перерастал в ипные поколения:
«Убитые собой приветствуют тебя».

Калигула

(на мотив Р. Лоуэлла)

Мой тезка, сапожок, Калигула,
давным-давно, еще в кашкулы,
твоя судьба меня окликнула,
и впилась в школьные миндалины
руна с мерцающей медали,
где бедный профиль злобно морщится,
как донышко моих возможностей!

Великоленнейший Калигула!
Уродец, взвитый над квадригою,
чье зло — наивная религия.
Мой дурачок, большое детство
просвечивает сквозь злодейство.
Как первый узел оголимый —
принц боли, узник, скот, Калигула.

Детсад Историк. Ты — пленник
еще наивных преступлений,
кумпр, посадка соколиная,
кликлуна, хулиган, Калигула!

Вождь двадцатидевятилетний,
добро и зло презрев, дилеммой
в мозгу, не утихая, тикает
боль тяжелейшей паутинкой.

Живу я почь твою последнюю,
к тебе в опочивальню следую.
И пальцы узкие убийцы
мне в шею впились, как мокрицы,
следы их, как улитки, лишки...

А над тобою, как улики,
у всех богов — твои улыбки.
Ты им откокал черепушки
и прилепил свой лик опухший.

Взывая к одноликой клике,
молись Калигуле, Калигула.

Читаю: «Тело волосато,
затмил пирамид Валтасара».
Читаю: «Громом рот замазан,
и череп лыс, как бюст из мрамора».
Ты, тонкошей, думал, шельма:
«Всем римлянам одну бы шею».
Мразь гениального калибра,
молись, Калигула!

Малыш, ты помнишь, как, заревавший,
ты в детстве спал, обняв звереныша.
Сегодня ни одна зверюга
с тобой не ляжет. Нету друга.

А ляжет юпоша осенний,
тобой задушенный в бассейне.
Забрызган кровью бог Адонис —
Парцисс, Калигула, подонок!

И в низкий миг тебя из мрака
прозлит прозрение зигзагом.
Ты все познаешь. Взвоешь криком —
бедняга, иволга, Калигула!

Лежки, сподобленный пезденному,
в бассейне ледяном и траурном,
катая ядра августейшие,
пока они не станут мраморными...

Молись за малыша, Калигула,
не за империю великую,
за мальчишка молись.
Скулило
зверье в загонях. Им спокойней.
Они не знают беззаконий
и муки, свойственной тиранам.
Мы, все забрав, — себя теряем,
Молись за наше время гиблое,
мой тезка, гибельный Калигула.

Человек меняет кожу,
боже мой! — и челюсть тоже,
он меняет кровь и сердце.
Чья-то боль в него поселится?

Человек меняет голову
на учебник Богомолова,
он меняет год рожденья,
он меняет убежденья
на кабинет в учрежденье.
Друг, махнемся — помоги!
Дам мозги за три ноги.
Что еще бы помешать?
Человек меняет мать.

Человек сменил кишки
на движки,
обновил канализацию,
гол, как до колонизации,
человек меняет вентиль,
чтоб не вытек,
человек меняет пол.
Самообслуживашье ввел.

Человек меняет голос,
велочек немаят логос,
мшпочек ослиает Сольвейг,
елочвок левмяет ослог...
Бедный локис, бедный век!
Он меняет русла рек,
чудотворец-человек.

Наконец он сходит в ад.
Его выгнали назад:
«Здесь мы мучаем людей,
а не кучу запчастей».
Он обиделся, соизя,
и пошел искать себя.

Три скрипки

Скрипка в шейку вундеркинда
вгрызлась, будто вурдалак.
Детство высосано. Видно,
жизнь, дитя, не удалась!

Век твой будет регулярным.
Вот тебя на грустный суд,
словно скрипочку в футляре,
в «скорой помощи» везут.

А навстречу вам, гуляя,
вслушиваясь в тайный плод,
тоже скрипочкой в футляре
будущая мать идет.

* * *

Не поимать стихи — не грех.
«Еще бы, — говорю, — еще бы...»
Христос не воскресал для всех.
Он воскресал для посвященных.

Чтоб стало достояньем всех
гробница, опустев без тела,
как раковина или орех, —
лишь посвященному гудела.

Оглянитесь вперед

В мою Белую книгу внесены вымирающие породы,
безрассудства черты,
что уходят навек, но сначала на годы,
что таить, это — Ты.

Как Тебя сохранить от моей же надруги?
Ты не белка, не стриж —
но сливаются с ночью Твои загорелые шея и руки,
когда Ты в безрукавке своей белой стоишь.

Не стреляйте взмахнувшую Белую книгу!
Мои темные книги сама Ты сожжешь.
Безрассудку мою безголовую белую Нику
не давайте под нож!

Москва минус Париж? Пойдите отнимите!
Париж минус Москва?
Пикассо с Родченкой курил на диамите.
И от Москвы в Москве кружится голова.

Как я люблю Москву Лентулова пернатого!
Тренещет, как крыло, из перышков мазка.
Восьмидесятые минус двадцатые?
Москва минус Москва?

Не вычесть из тебя, Москва, болотным кваканьем
года твоих голгоф, прозрений, голодух.
Над любопытными дохнул великий вакуум
и коммунальных аввакумов дух.

За этот дух расплачиваясь шкурой,
интеллигент из благостных крестьян
западноевропейскую культуру
брал на лету, как голую Дункан.

В истории нельзя забыть ни доли сотой.
Комбипезончик твой — осиная модель.
Настоящи судьбой филоповские соты.
Как Хлебников помолодел!

Спасибо. Не прощаюсь. Пожелаю
запятать места на выставках, в музеях и мозгах,
В Коровипе, московском парижанине,
импрессионизирует Москва!..

Кому-то это минус или примесь.
Подброшен как мишень бубновый черный туз.
Фломастером вооружусь.
Я на афише переправлю минус
на плюс.

Щенок по имени Авось

После показа оперы «Юнона» и «Авось» в театре Эспас-Карден французские театралы назвали щенка кличкой Авось и подарили нашим актерам.

Как ты живешь, Авоська,
без сосен без савойских?
Московская французенка,
мадемуазель Авось.
Потешно вдоль Манежа
бежит щенок надежды.
Как кожаная кнопка,
блестит потертый нос.

Нажмете вы на кнопку —
и вы у Сены знобкой,
а может, дальше — в небе,
где Гончий Пес?..
Когда ж вы не без фальши —
останетесь без пальца.
Авось, не потеряйся!
«Авось, — зову, — Авось!»

Авось, тебя лечили
от злостной пневмонии.
Горел в снегах простуженный
сухой горячий нос.
«Авось!» — зовут актеры,
«Авось!» — визжат вахтеры,
и тормозят шоферы
автобусных колес.

В собачьих магазинах
есть вкусные резины —
пропитанная мясом
искусственная кость.
А здесь «авоськи» вещие,
и всюду тумбы те же —
у Лувра и Манежа —
и можно писать вкось.

Люблю пожар Парижа!
И в зелени, как рыжик,
ампиры обрусевшие
особняков в Москве!
И модница Парижа
мигнет, примерив пыжик.
Авось, не зря построил
Манеж Бове.

Авось, все образуется,
исчезнут все абсурдности.
Хоть палец Апокалипсис
пад кнопку занес...
Но все небезутешно,
покуда вдоль Манежа,
как кнопочка надежды,
бежит потертый нос.

Твои глаза зеленые — как вино,
желанье затаенное на дне одно —
новый секс у всех в голове:
«Как найти в Москве
СКВ?»

Не Массне доносится из кафе —
«Как пайти в Москве
СКВ?»

Школьница выходит в полпочный скве... —
... ..
... ?

Над зеленым куполом рест стяг.
Ты куда стремишь нас, Тверская-стрит?
И зелено-бронзовый, как доллар смят,
Пушкин за Макдоналдсом стоит.

Я разорвал псами, в зеленке весь.
И твоя косметика зелена.
От границ с анашой до границ Норд-Вест
зеленеет наша страна.

А в отеле
вечная картина Саврасова:
«СКВ прилетели!»

Как пайти сквозь застлавшую взор листву
твое бело-розовое «ау»?
И тоскует мысль в голове:
«КАК ПАЙТИ МОСКВУ
В СКВ?»

Душа стремится к консерватизму —
вернемся к Мельникову Константину,
двое любовников кривоарбатских
двойною башенкой слились в объятьях.

Плацом покрытые ромбовидным,
не реагируя на брань обидную,
застыньте, лунные, оставайтесь, двое,
особняком от людского воя.

Как он любил вас, Анна Гавриловна!
И только летчики замечали,
что стены круглые говорили,
сливаясь кольцами обручальными.

Не архитекторы прием скопируют,
а эта парочка современников —
пришли по пушкинской тропе ампирной
и обнимаются а là Мельников.

Хлещи джипсовкой, схлещивай!
До пояса гола,
сбивает пламя женщина
с обшивки «Жигуля».

Хлещи, хлещи, схлещивай!
Металл без изоляции.
Спасай, спасай, женщина,
в горячей ситуации!

Горят твои избы.
В баке «Жигулей»
не взорвались лишь бы
семьдесят коней!

В баке — мощь Кювейта.
Тормозящих пет.
Мужик твой из кювета
консультирует.

Так в самолете б бешеном
твоим произошло —
ты и на небе, женщина,
полезла б на крыло!

Там только пог не свешивай,
над бездною воля.
Спимай, спимай, женщина,
потом с небес тебя.

Его ты бросишь, женщина.
Сгорает твой сидвей.
Заморского вынь Леценку
хотя бы из ушей.

Вся в кофти подушек,
руки заломив —
кто тебя потушит,
сублимированная Суламифь?

Туши, туши, женщина, —
все не перетушить.
Души погорельщину
не перетужить.

Затоптав пожарище —
вокруг толпа уже, —
по-русски выражаешь
все, что на душе.

Под ржание жеребщины
джинс бросишь догорать...
Есть женщины
в русских городах.

Пожар, пожар кончился —
горит, горит, не гасится.
С орудовцами-гонщиками
ушел мужик в газике.

Шоссе, шоссе — белое.
Глаза, глаза — красные.
В душе, душе — страшное.
Не сбить децибелами.

Летит, летит трасса.
Летит, летит женщина.
Летит, летит ангел.
Летит, летит трасса.

Ты чудо вся — даже пустяк такой!

Возьми на палец божью коровку.
Она щекочет палец золотой —
по дактилоскопическим бороздкам
головка с музыкальной иглой!
На всем печать мелодии короткой...
И небо ожидает над тобой.

Припади к стеклу — что я делаю? —
совпадение запотелое.

Золотая до обалдения,
запотевшее совпадение.

Совпадение наших судеб,
папих шуток, лесных как Шуберт.

Нос приплюсни в окно потешное,
совпадение запотевшее.

Торопись, моя современница,
горы сдвинутся, царства сменятся,

только это и неподдельное —
запотевшее совпадение.

Оглянись вперед

Мы летим вперед,
а глядим назад.
Какой раньше рай!
Какой раньше ад!

Мой родной народ,
оглянись вперед!

Вымахали офигенные
клёны афиногеновские!
Карей американкой
в Россию завезены.
Лист припадет кофейный,
словно щека мгновенная, —
будто магнитом тянет
Америка
из-под земли.

Клёны — они как люди
с мыслящею генетикой
Сгорела американка
в каюте после войны.
Клёны афиногеновские —
потомственная интеллигенция,
поскольку интеллигенцией
усыновлены.

Они шелестят по-нашему
обрусевшими кропами.
Они обрамляют панно,
бетонку и штабеля.
Красная церковь
времен Иоанна Грозного
поет на ветке,
красивая,
размером со снегиря.

Если выходят нервы
из-под повиновения
или строкой повеяло —
подыми
воротник,

выйди от поворота
в клены афиногеновские,
и под уклон дорога
выведет на родник.

Мой кабинет кленовый,
тайпа афиногеновская,
где откровены
поле,
небо —
и что еще?
Христосуются,
позавтракав,
сварщики автогенные,
лист им благоговейно
спланирует на плечо.

В западном полушарии
роща растет, наверное.
Кронищи родословные
тягою изопли.
Листья к земле припадают,
словно щека мгновенная —
будто их к детям тянет
Россия
из-под земли.

Прорвавшись сквозь рыбки, — веселая, вербная, —
звенит деревенская интервенция!

В квартире царит незаконная ветка —
с победой, зеленая интервентка!

И пахнет грозой огуречная кожица,
очищена — тоненькая, как трешница.

И запово верится, и взвинчены женщины,
в умах — интервенция деревенщиков...

Да это же вербное воскресение!
Общано счастье в конце третьей серии,

и нас не смущает, что фильм двухсерийный...
Ну, нет — так пакуним ташкентской сирени.

За тобою прожженные годы,
за тобой оскверненный словарь,
я с тебя, как срывают погоны,
свои четверостишья сорвал.

Я лишаю тебя гражданства,
и, как серьги, — толкая взащей, —
все слова, что ты мпой награждалась,
вырву с мочками из ушей!

Я сдираю с тебя песнопенья.
Убирайся, какая пришла!
Как пропаща ты безнадежно.
Как по-прежнему хороша.

* * *

В пору, когда зацветает акация —
 желтых измен семена неблагие, —
 сердце сжимается, как от локации.
 Это душевная аллергия.

В пору, когда отцветает провинция
 белой пыльцой под строительной гирей,
 я одобряю прораба провиденья,
 но у меня на него аллергия.

Речи ли в клубе эрзацные слушаю,
 или брожу почерпевшею чащею,
 или с холма загляжусь на цветущую
 наших полей перспективу щемящую, —
 будто вдыхаю на косогоре
 чьему-то ребешку грозящее горе.

Олигофрены цветут на плаптациях.
 В воздухе носятся мысли такие,
 что если бы воздухом этим питаться,
 была бы у ангелов аллергия.

В пору, когда отцветает религия,
 свадьбы летят — одуванчики Пасхи.
 Религиозная аллергия
 с платья трилистничком осыпается...

Не отцветай, моя тайная Муза!
 Так же врасплох, как и в пору Вергилия,
 ты прибегаешь, целебно-дремуча!
 Это предчувствует аллергия.

БОЙ!

Поэма

Юрию Магалифу

Вступление

«Ехали казаки,
Зубы казали.
На красных пополах
Лежали поповны!»

Сибирь?..

Соболь — Сибирь?
Сабля — Сибирь?
Староверы — Сибирь?
Сталевары — Сибирь?

Сибирь?..

Харя — точно хала,
Крута, кругла.
Кепчочка конченная,
Как рыба камбалá.
«Гитара семиструнная ай пистолет? —
Семь бед на свете, один ответ —
Четыре сбоку и ваших пет!»

Сибирь?..

Бип-бип-Сибирь!

«Была я смоляпочка-а,
Стала самоедочка-а...
Мы всю ночь с милепочком
Строим семилеточку!
Ой!

А Витька с Галочкой,
Как винтик с гаечкой,

Полюбили намертво,
 Д'не сошлись диаметром...
 Ой!

«Бип — Бип...»
 Сибирь!

Слово — Сибири!
 В нем сосны гудят и металл.

Слава — Сибири
 натруженной, как самосвал!

Слово — моторам!
 И слово тебе, сатана,
 Лешка-шофер, конопатый, как будто Луна!

Звезды — как торка.
 Мы шпарим на грузовике.

«Слышал про черта?
 вчера изловили в тайге...»
 Хвойный, бензиновый, хохочет поселок ночной.

Чья-то слезинка
 бессонно
 висит
 над тайгой.

I

Черт мычит, что есть мочи.
 Отвергает кумыс.
 И мотаются в мочках
 Два ведра с коромысла.

Он смыкает пельмени
 Своих слипшихся век.
 Он кричит по-оленьи
 И кудахчет в ответ.

Партактив. Комсомольцы.
 «Ну и топц, троглодит!
 Ему, жулику, молятся.
 Ой, очки проглотил!

Осторожнее, Лешка!»
И сползает с лица,
Как столовая ложка,
Зверовая слеза!

Детский взгляд близорукий
Из-под белых ресниц,
Его знали зверюги.
Его люди тряслись.

Он встает с четверенек, черт.
Он кричит на меня по-олесья —
Черт, черт —
С сорок третьего года рожденья!

II

Тот год сорок третий пурга замела.
Туземка сынка без отца родила.

Он рано пошел. Он рыдал, как угод.
Он весил четыре кило восемьсот.

«Дьявол! — поставил диагноз шаман. —
Он — черт, покровитель скота и шайтан».

Мальчонку к свиные подложили в хлеву.
Тасжкному Маугли пели хвалу.

Он вырос в хлеву. Он сосал от свиные.
Лес дал ему правы и знания свои.

III

Родился Ромео!
Родился Мурильо!
Румяный безмерно...

... Чавкают рыла.

А может, под елкой
Родился Шаляпин?
Лякуйте, галерки!..

...Он грязью заляпан.

Ему Афродиты,
Мольберты, комбайны...

...Копыта, копыта!
Кабаньи, кабаньи!

Он — сын человеческий,
Чтоб жать, чтоб молоть,
Чтоб женские плечи —
Как дыни ломоть!..

...Щетина, как стрелы.
И уши до пят...

Родился Гастелло!

...Хряки хранят.

IV

Ой...
Серой волчицей во поле вою...
Ой!
Мальчика, сыночки нету со мною —
Ой...

Люди, вы люди, лютые боровы,
Ой!
Как я рвала их щетинные бороды!
Ой...

Грызла стропила, ногти срывала,
Ой!
Грудь запозила — в щели совала,
Ой...

А он почками снится —
Как яблочко, лежит...
А солнце бьет в респицы,
Как бабочка, дрожит...

Ой...

V

Третий Лунник летит, как милый!
Ну, а если душа больна,

Чтобы эта слеза — последняя,
Бой, бой!
Чтобы больше ни лжи, ни сплетни —
Бой!

В бой с извечным советским свинством,
с фиксой, блещущей под губой —
пусть ее маскирует «Винстон» —
в бой, в бой!

И поэту в ночах не спится...
С паспортною, но изгой...
Не патрицием — беспартийцем
В бой, в бой!

Альфу времени и омегу
Пой!
Против зверя — за Человека.
Бой.

Это боль моя или боль?..
Бой окончен. Да будет бой!

ЛОНЖЮМО

Поэма

Авиавступление

Вступаю в поэму, как в новую пору вступают.
Работают поршни,

соседи в ремнях засыпают.

Почной папирской

летят телецентры

за Муром.

Есть много вопросов.

Давай с тобой, Время,

покурим.

Прикинем итоги.

Светло и прощально

горящие годы, как крылья, летят за плечами.

И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы, да и спутницы паши, —

не юпы,

что нас провожают

и машут лукаво

кто маминым шарфом, а кто —

кулаками...

Земля,

ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.

По гаснущим рельсам

бежит

паровозик,

как будто

сдвигают

застежку

на «молшии».

Россия, любимая,

с этим не шутят.

Все боли твои — меня болью пронзили.

Россия,
я — твой капиллярный
сосудик,
мне больно когда —
тебе больно, Россия.

Как мелки отсюда успехи мои,
неуспехи,
друзей и врагов кулуарных ватаги.
Прости меня,
Время,
что много сказать
не успею.

Ты, Время, не деньги,
но тоже тебя не хватает.
Вступаю в поэму. А если сплосхаю,
прости меня, Время, как я тебе краткость
прощаю.

I

В Лонжюмо сейчас лесопильня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна, бурые, как эскимо.

Пилы кружатся. Пышут пыльцики.
Под береткой, как вспышки, — пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.

Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны — тезки?!
Пахнет музыкой. Пахнет тесом.

А еще почему-то — верфью,
а еще почему-то ветром,
а еще — почему не знаю —
диалектикою познанья!

Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы.

Как лучи из-под тучи синей,
 быют

опилки
 из-под пилы!

Добирайтесь в вещах до сути.
 Пусть ворочается сосна,
 словно глиняные сосуды,
 солнцем полные доюжна.

Пусть корою сосна дремуча,
 сердцевина ее светла —
 вы терзайте ее и мучайте,
 чтобы музыкаю была!

Чтобы стала поющей силищей
 корабельщиков, скрипачей...

Ленин был
 из породы
 распиливающих,
 обнажающих суть вещей.

II

Врут, что Ленин был в эмиграции.
 (Кто вне родины — эмигрант.)
 Всю Россию,
 речную, горячую,
 он носил в себе, как талант!

Настоящие эмигранты
 пили в Питере под охраной,
 воровали казну галантию,
 жрали устрицы и грапаты —
 эмигранты!

Эмигрировали в клозеты
 с инкрустированными розетками,
 отгораживались газетами
 от осенней страны раздетой,
 в куртизанок с цветными гривами —
 эмигрировали!

В драпдулете, как чертик в колбе,
 изолированный, педобрый,
 среди великодержавных харь,
 среди нарядных охотнорядцев,
 под разученные овадии
 проезжал глава эмиграции —

Ц а р ь!

Эмигранты селились в Зимнем.
 А России сердце само —
 билось в городе с дальним именем
 Лонжюмо.

III

Этот — в гольф. Тот повержен бриджем.
 Царь просаживал в «дурачки»...
 ...Под распарившимся Парижем
 Ленин
 режется
 в городки!

Раз! — распахнута рубапка,
 раз! — прищуривался глаз,
 раз! — и чурки вверх тормашками —
 Рраз!

Рас-печатывались «письма»,
 раз-летясь до облаков, —
 только вздрагивали бисмарки
 от подобных городков!

Раз! — по тюрьмам, по двуглавым —
 ого-го! —
 Революция играла
 озорно и широко!

Раз! — врезалась бита белая,
 как аврововский фугас —
 так что вдребезги империи,
 церкви, будущис берии —
 Раз!

Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов»! Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!
Раз!..

...а где-то в пачале века
человек, сощуривши веки,
«Не играл давно», — говорит.
И лицо у него горит.

IV

В этой кухоньке скромны тумбочки,
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз,

было утро, теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол доминиканский,
Мари-Роз,

прислоняюсь к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через ленточное стекло,

и мне мнится — он где-то спереди,
меж торговых, машин, корзин,
на прозрачном велосипеде
проскользил,

или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил в метро грохочущем
ослепительный свист саней?

или, может, жару и жаворонка?
или в лифте сквозном парит,
и под башней ажурно-ржавой
запрокидывается Париж —

крыши сизые галькой брезжут,
точно в воду погружены,
как у крабов на побережье,
у соборов горят клепши,

над серебряной панорамою
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами,
он читал превращения их,

он любил вас, фасады стильные,
точно ракушки в грустном стиле,
а еще он любил Бастилию —
за то, что ее срыли!

И сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное
лицо,

и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках и маевках,

а за ними — фронты, юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на крошгадтском льду.

Папа, это ведь не смертельно?
Папа, как ты в годах глухих?..
Мы родились от тех метелей,
погибаем теперь от них.

V

В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой в копснекты,
спит, живой еще, невоспетый
Серго,

VII

Мы — утопленники Утопии.
Изучая ленинский текст,
выражение «двоежопие»
мною прочитывается как текст.

Вылезает из круглых скобок
перископный глаз, как циклоп.
Раздвоение душ прискорбно,
но страшной — раздвоение жоп.

Удивительная повинка —
человек с четырьмя половинками.
Озадачены знать и зять —
НЕПОНЯТНО, КУДА ЛИЗАТЬ.

Многоженство антизаконно.
К многожопству сейчас пришли,
как упругие шампиньоны,
их выращивает Дали.

Но, увы, еще до потона
от рождения нам дана:
одна Родина, одна жопа
и, увы, голова одна.

VIII

Его скульптор лепил.
Верпес,
умолял попозировать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,

бормотал он оцепенело:
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»

Поэтично кроить Вселенную!
Может, в каждом живет поэт?

Бил в него, как позднее в Леннона*,
Неопознанный пистолет!

IX

Однажды, став зрелей, из спешной
повседневности
мы входим в Мавзолей,
как в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок и прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали,
Ленин?!

Скажите, Ленин, где
победы и пробелы?
Скажите — в суете мы суть не проглядели?..»

Ворует наш народ. Не все читаем Джойса.
Страшнее, что растет кривая двоежонства!

Нам часто тяжело. Но, исключив соблазны,
Прозрачное чело горит лампообразно.
«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин
отвечает.

На все вопросы отвечает Ленин.

Черное знамя**I**

Дух двусторонний,
хамелеопный,
в плен страну мою не бери.
Черное знамя горы Поклонной,
черная птица Поклонной горы.

Как гениальна
бездарь в исканье!
Окаменело в мемориал
черное знамя из красного камня —
тяжкой эпохи двойная мораль.

Кто против солнца,
в мрак обратится.
Когтится бульдозеров громадьё.
Я отогнал тебя, черная птица,
но почерцело сердце мое.

II

В пору сомнений, в темную пору,
с рукопожатием в сорок тонн,
демагогическим Командором
черное знамя
входит в мой дом.

За небеса мои разрешеченные,
за то, что с глаз сорвал пелену,
и за отбитую у него женщину —
мою страну.

Вот ты какое, затмение знамени!
Фундамент в дверях оботри, темнота!
Вмято в паркет пианино мамино.
Камни валили, меняя цвета.

Вблизи гранит оказался серый.
Лживый идол дышал с трудом.
Разило ворами, обманом, серой.
Камни расшатывали мой дом.

И, погибая в его камнях,
курчавой невестке суля Гулаг,
словно взбесившееся затмение,
выл надо мною вождя кулак.

Души ломали. Шли самосвалы.
Кто против солнца —
с тем знаменем шли.
Черный край его целовали
дети слепые моей земли.

Все проверяется небесами.
Все, что фальшиво, глядят на свет.
Сгинь, двустороннее это знамя,
диалектический силуэт.

Да расколдуйтесь же и очнитесь!
Перемолчали?
В мозгах ни зги?
Как от волчанки или черники
затмились губы и языки.

Как мы врали своим любимым!
Камни сменялись. Пробило три.
Не защищаюсь. Камни лупили.
Ложь сотрясала мой дом изнутри.

— Зато в поэзии не было наврапо.
— А сколько вралось, чтобы в ней не врать?
Любыми Голгофами или лаврами
души обманутой не оправдать.

«Гору отдай», — говорят камни.
В кухне Помпея. Свет потух.
«Мне конкурс не скоро пойдет замену.
Я — черное знамя — эпохи дух.

И не устраивай больше хипеш.
Знамя в самом тебе, идиот.

Ты под развалинами погибнешь.
Чернос знамя тебя убьет».

III

Утро...
Ура! — кричат в телефоны.
Благою вестью полны дворы.
Мчатся колонны
к спасенной Поклонной.
Знамени пету.
Нету горы.

Не огрекусь

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисул.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплипов
и от коцунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?» —
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальце высказал.
По на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю.

Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекусь.

Бегите — в себя, на Гаити, в костелы,
в клозеты, в Египты —
бегите!

Нас темные, как батыи,
машини поработили.

В судах их клеветы наглые,
из рюмок дуя бензин,
вычисляют: кто это в Англии
вел бунт против мании?
Бежим!..

А в ночь, поборовши робость,
создателю своему
кибернетический робот:

«Отдай, — говорит, — жепу!
Имею слабость к брюнеткам, — говорит. —
Люблю
на тридцати оборотах. Лучше по-хорошему
уступите!..»

О хищные вещи века!
На душу наложено вето.
Мы в горы уходим и в бороды,
ныряем голыми в воду,

но реки мелеют, либо
в морях умирают рыбы...

...Душа моя, мой звереныш,
меж городских кулис
ценком с обрывком веревки
ты носишься и скулишь!

А время свистит красиво
над огненным Тенниси,
загадочное, как сирин
с дюралевыми шасси.

Рыбак Боков варит суп

Богу — Богово,
а Бокову —
Боково...

Он хохочет оглушительно.
На снегу горят ножи.
И как два огнетушителя
наши красные носы!

В полунубке, как бульдозер,
Боков в бурную струю
валит дьявольскими дозами
рыбин, судьбы, чешую.

Церкви, луковки, картошка,
ух — в уху!
Головешками галоши
расплясались на снегу.

Пляшет чан по-половецки.
Солнце красной половешкой.
Боков бешен как шаман.
И бормочет: «Ах, шарман...»

(Он кого-то ужокошил.
Говорят, он давит кошек.
Ловит женщин до утра,
нижет их на вертела.)

Пустяки — все сплетни, байки,
когда, взявши балалайку,
синеок, как образа,
заглядится в облака.

и частушка улетая
точно тучка
золотая
унесет меня как дым
к алым туфелькам твоим
как консерваторской палочкой
ты грозишься резвым пальчиком

«Милый — скажешь —
прилечу...»

Чу!..

Речь при получении докторской мантии в Оберлине

Политики повязаны.
Фрейд стар.
Истина — в поэзии,
Фред Старр!

Что мне делать с мантией?
Чай, не царский сан.
Может быть, натяните
на дельтаплаш?

Может, покатаемся
натошак,
как Мефисто с Фаустом
на плащах?

Чтобы люди обмерли
из долин —
Оберлиц, Оберлин,
Оберлин...

Что это написано
in the sky?
«We must love each other
or die».¹

Это Оден вычеркнув,
написал
птичками-кавычками
в небесах.

Как ты не сорвался,
Фред Старр?
Как там не взорвался
наш шар?

Но пока не пробило,
мы парим —
Оберлин, Оберлин,
Оберлин...

333 Не отрекусь

* * *

Господь, помилуй мою душу!
Через различные этапы
я шел от Треугольной груши
до четырехугольной шляпы.

* * *

Я, к Пегасу вода
роковых кобыл,
проглядел Тебя,
близоруким был.

Проглядел, следя
дальний свет страны,
этот ближний свет
твоих Божьих глаз,
где названий нет,
а поступки странны.
Всех других спасал.
Лишь тебя не спас.

Ты открось мне
мокрой злокою —
от шампуни вся
близорукая.

Я стою слепой.
Узнаю халат.
Подари мне взгляд,
каким раньше был.

Совмещенный взор.
Безымянный час.
Происходит в нас
подзарядка глаз.

Ты смешься:
«Я — не пегевер.
(Моя красота неканоническая.)
Чтобы разглядеть меня,
не убегай на дистанцию.

Я — Саския,
которую видно только в упор».

1985

Пляж

По пляжку пиджачно-серый
идет отставной сенатор.
За ним сестра милосердия носит дезодоратор.

И Понтом Аквинским смыло
в путевочном море толп
заискивающую ухмылку и лоб,
похожий на боб.
«Сик трансит gloria мунди».
Народ вас лишил мандата.
Где ваши, сенатор, люди?
Исчезли, урвав караты.
Склерозная мысль забыла
приветственные раскаты,
когда вы свою кобылу
вводили под свод сената.
Мы с вами были врагами.
Вы били меня батогами.
Сейчас я по скользкой гальке
подняться вам помогаю.
И встречу сквозь воды Вечности
спелепутый в полотенеца
стаповящийся человеческим
замученный взгляд младенца.

Дай мне, Москва, по максимуму
на пару жизней как минимум —
соборов твоих помазанников
и плахи правес Минина.

Дай мне, Москва, по максимуму
растопчинского твоего дара, —
сжигая себя, помалкивать,
стать краше после пожара.

Родина моя малая,
замоскворецкий дворик
учил меня жить по максимуму,
не подтирая двоек.

Люблю, когда мост твой Крымский
на ниточках, словно кукольник,
фигурки в салютных брызгах
держит над ночью угольной.

А вечером к нам, питомцам,
по вантам,
как по перилам,
съезжало голое солнце,
ни разу не запозилось!

Здесь видели далеко вы
в Москве-реке убеждений
купающегося Третьякова
с мальчишками Рубинштейнами.

И будущая консерватория,
и врубелевское масло —
все в искрах реки касторовой
рождалось по максимуму.

Дай мне максимализма
московских интеллигентов!
Не только по магазинам
к нам съезят из Телекенов.

Соседствуют в наших улицах,
в отличие, скажем, от Питера,
по максимуму безвкусицы
с максимумом наития.

И вместо Храма Господня,
поставленного во спасенье, —
как грешники в преисподней
дымимся в хлорке бассейна.

Заслуживает возражения
взяточников малина.
Но главное — в Возрождении
духовного максимализма!

Возьми с нас, Москва,
по максимуму.
Счеты твои не мелочны.
Могилы отца и матери
стоят в твоём Новодевичьем.

Не чтобы жить задами,
в историю я ударился.
Чем современной здапье —
тем глубже глядит фундамент.

И все фундаменты точно —
Нью-Йорка, Калуги, Шартра —
пересекаются в точке
центра земного шара.

Там встретятся пикуль алюминиевый
с нашими маковками.
Жизни отпущено -- минимум.
Живите — по максимуму.

I

Сердце хватится Сухаревой всадницы.
Есть у всех народов добрый истукан.
Всадница-заступница верхом на фасаде,
опустив поводья, бродит по векам.

В годы изумрудные, монархические,
ты, бело-зеленая, вся в отца,
Сухарева всадница малахитовая
возглавляла липы Садового кольца.

Взвейся, революция, огнем сполошным!
Оголяй, доносчик, для порки задницу.
На народной площади осадит лошадь
огненная всадница, огненная всадница!

Где сейчас те липы? Спросите кумушек.
За тобой последовали, говорят.
Из кольца Садового вынал камушек —
изумруд, по слухам, или гранат.

Над автомобилями слышу топот.
О невероятном расскажет Капица.
Это архитекторы камень долбят.
Видно, возвращается в город всадница.

II

Почью морозной я по Колхозпой
шел. Апельсины почные Фалька
клали асфальт. Под катком асфальта
вдруг я услышал голос: «Мне больно!»
Я подбежал. По какой-то штольне
я опустился. В асфальтных клубках
пророс фундамент, как будто зубы.
Вошел я в Сухареву башню.
Оставь надежду, сюда попавший!
Я шел в закоулках памяти, видимо,
где каждый кирпич как кассета видео.
Она была женщиною — я понял —
стихийной, путаной, запойной...
Но страшно: чем глубже я опускался,

тем выше над городом подымался.
Чужая молва подо мной шумела.
Слава богу, что не шумеры!
Скворешни уборных лепились к крыше,
из них вылетали на черпых крыльях
монахи. А ниже Брюс-черпокнижник
под нож моложенья ложился смело.
«Ты раздели, жена, мое тело
на девять частей! И они срastутся».
И эхо гудело несущих конструкций:
«Ты раздели, страна, мое тело!»
Другое вторило: «Не срastутся».

Андрея Артуровича Давида
я встретил в комнатке с вечным видом
на тысяча девятьсот тридцать четвертый.
Срastалась память кусками туловищ.
Меня в коляске катили чертовой
мимо красной архитектуры.
«Откройте правду, Андрей Артурович!»
Глаза забелели живой водою.
«Я был девятнадцатилетним дурнем.
Она была первой моей любовью.
И ветер истории выл: «Ату се!»

Василий Блаженный стоял на плахе.
Шла реконструкция бесшабашная.
Фомин и Щусев жили в страхе
за Сухареву башню.
Распорядитель в кармашке с ручкой
нам усмехнулся: «Построим лучше».

Я бросился к Алексею Максимовичу!
Тот дал мне прямой телефон Ягоды.
Пять дней отсрочки. Белей простыпочки
я шел к возлюбленной моей по городу.

Я перед смертью тебя обмерил.
Снял украшенья вместе с часами.
Так вор срывает серьги, камни
вместе с пальцами и ушами.

Я закопал твои руки белые
 в Коломенском, под пастурциями.
 «Ты раздели, человек, мое тело
 на части, — слышу. — Они сростутся».

III

— Мама, что мы носимся над миром?
 — Журавленок, видно, стала я стара...
 Башня нам была ориентиром.
 Мы ошиблись — это не Москва.

IV

Восстановите Сухареву башню!
 В Коломенском, в Донском, меж лебеды,
 разъятая, как будто змей протяжный,
 она лежит. И ждет живой воды.

Восстановите Сухареву башню.
 Чтоб, где-то заплутавшие вдали,
 вновь различив ориентир всегдашний,
 вернулись вековые журавли.

Готовы чертежи и кран монтажный.
 Пусть нету Мефистофеля пока —
 «Восстановись, мгновенье! Ты прекрасно».
 Особенно когда оно — века.

К пей не репуй, ловый Арбат трельяжкий,
 к кумашной шубке, к алой худобе.
 В Москве, в молве, а главное — в себе
 восстановите Сухареву башню.

В мире друзей, в мире транспорта долгого,
что ты там делаешь в мире, где дождь?
Делишься с кем мандаринными дольками?
Что за экзамены снова сдаешь?

Ой, вокалисточка, слова за шалости?
Или озябшая, бросив постель,
бродишь босая и взять не решаешься
трубку тяжелую, точно гантель...

Вместо будущего стал
бывшим он.
Покидает пьедестал
б. чемпион.

Б. рекорды, б. награды
в б. борьбе...
Улыбается с экрана
б. ББ.

Б. надежды, б. романы
ранних лет...
По журналам графоманит
б. поэт.

Б. правдивый, б. отважный,
мой б. друг,
неужели дружба даже
б. продукт?

Про меня злословишь? Ладно...
Я ж тебе —
пожелаю сил, таланта,
но без «б».

Я славлю скважины замочные.
Клевещущему —
исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистаще сплетен о тебе.
Как пулеметы, телефоны
меня косили наповал.
И, точно тенор — анемоны,
я апошмйки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший вапилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж.
Что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатые пылующих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали черпые ручьи.

И все оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала пубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!
Смакуйте! Держайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

О Грузия! Ты — панорама,
чем вековечен человек.
Мужские хромосомы храмов
и женская отвага рек.

Что тебе привезти из Парижу?
Кроме тряпок, т. д. и т. п.
Пожелтевшую папу афишу
и немного тоски по тебе.

Нобогатые эти подарки.
Я в уме примеряю к тебе
Триумфальную белую арку,
словно платье с большим декольте.

* * *

Я обожаю воздух сосновый!
Сентиментальности — от лукавого.
Вдохните разлуку в себя до озноба,
до иглоукалывацья. До иглоукалыванья.

Вденьте по ветке в каждую иголку,
в каждую ветку вденьте по дереву,
в каждое дерево родину вденьте —
и вы поймете, почему так колко.

Полюс

Над мировым кружением отчаянным
стою и думу думаю свою.
Мне полюс говорит:
«Пусть все вращаются.
Я постою».

900 детей блаженной памяти,
900 гниющих в джунглях тел.
Отказались от преступной матери
самые из искренних детей.

900 лежачих забастовщиков
навсегда.
Сквозь тела, как в трубы водосточные,
прошумела зряшная вода.

Не хищия, не групповое братство,
мне явился в джунглевых лесах
смоляной огонь старообрядцев,
что сжигались в угольных церквах.

Не для всех тот пламень непомерный.
На губах обманное питье.
Те сожглись в огне великой веры,
эти в тщетных поисках ее.

Дети, дети, что вы патворили!
Что мы патворили, все подряд.
Ангелы уснули — отравители.
Ангелы отравленные спят.

Жизнь сидит с недетскою гримаской,
с чашею отравленной сидит —
медицинской или гефсиманской?
Их не нам, преступникам, судить.

Смертны камень, и воздух,
и фэпомен человека.
Только текучий памятник
пельзя разложить и сжечь.
Не в пресловутую Лету —
впадаем, как будто в реку, —
в Речь.

Речь моя,
любовница и соплеменница,
какое у тебя протяжное
московское «а»!
Дай мне
стать единицей
твоего пространства и времени —
от Гаганки
до песни,
где утонула княжна.

С этого «а»
начиается жизнь моя и тихий амок.
Мы живем в городе
под названьем Молва.
Сколько в песне
утоплено персиянок!..
«а-а-а»...

С твоим «а» на губах
между нынешними акулами
я проплываю
брассом
твою темную течь.
Дай мне
достоять от полуночи до Аввакума,

Речь!
Родился я в городе,
под которым Неглинка льется.
Я с детства слушал
подземный хор,
где подавал мне реплику суфлер —
из люка
канализационного колодца.

Избегаю понятия «литература»,
но за дар твоей речи
отдал голову с плеч.
Я кому-то придурок,
но почувствовал шкурой,
как двадцатый мой век
на глазах
превращается
в Речь.

Его темное слово,
пока лирики телятся,
я сказал по разуму своему
на языке сегодняшней
русской интеллигенции,
перед тем как вечностью
стать ему.

И ни меч, ни червь
не достанут впадающих в Лету,
тех, кто смог твоим «а»,
словно яблочком,
губы обжечь.
Благодарю, что случился
твоим кратким поэтом,
моя русская Речь!

Резиновые

Я ненавижу вас, люди-резины,
вы растяжимы на все режимы.

Улыбкой растягивающейся зевнут,
тебя затягивают, как спрут.

Неуязвим человек-резина,
кулак затягивает тряпина.

Я знаю резиновый кабинет,
где «да» растягивается в «да не-ет...»

Мне жаль тебя, человек-эластик.
Прожил — и пусто, как после ластика.

Ты трусишь, раздувшись поверх рейтуз, —
пиковый, для всех несчастливый туз...

Резинки бы делать из этих тузов —
крепче бы не было в мире трусов.

Два дворца в Ликани

Здесь жил великий князь Романов.
Поньше вспоминает сад
и замок в пакладных румянах
его ромаша аромат.

Он пренебрег державным саном
во имя женщины простой.
Он рядом ей построил замок
над все смывающей Курой.

В халатах красных и ковровых
они прощались на заре.
И призрак сломанной короны
горел над ним на горе.

За это царь его чихвостил.
И останавливался бал.
И очарованный Чайковский
на подоконнике играл.

И попадаем мы повольно,
идя из дома во дворец,
в волшебнo-силовое поле
меж красных камешных сердец.

Пред этой силою влюбленной,
что выше власти и молвы,
за именованием короны
спимаю кепку с головы.

Эта слава и цветы —
дань талантищу.
Любит голос твой. Но ты —
всем до лампочки.

Пара надаёт в траву,
сломав лавочку,
под мелодию твою...
Ты им до лампочки.

Друг на исповедь пришел,
пополам почти.
Ну, а что с твоей душой —
ему до лампочки.

Муза в местной простыне
ждет лавандово
твоей автограф на спине.
Ты ей до лампочки.

Телефонист пол-Руси,
клубы, лабухи —
хоть бы кто-нибудь спросил:
«Как ты, лапочка?»

Лишь врагу в тоске ножа,
в страстной срочности
голова твоя нужна,
а не творчество.

Но искусство есть комедь,
смысл Ламанческий.
Прежде чем перегореть —
ярче лампочка!

* * *

Как хорошо найти
цветы «ни от кого»!
Всю ночь с тобой на «ты»
фиалок алкоголь.

Ничьн леса и гать
вздохнули далеко.
Как сладостно слагать
стихи ни для кого!

Когда всегда передо мной
прикидываешься беспечной,
я думаю, какой ценой
твой свет всегдашний обеспечен.
Мы были счастливы в воде,
где нету городской пыли,
где ты естественна и где
твои красивые заплывы.

Как трудно быть тебе земной,
казаться из земного теста
весною, летом и зимой
и только месяц быть естественной.
Ах, скука, скука, скукота,
где город и бензином морят,
ах, суша, суша, сухота —
а ты для Бога и для моря.

* * *

Ты с теткой живешь. Она учит канцоны,
чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы неавидим проклятую ведьму!..

Мы дружим с овином, как с добрым
медведем.

Он грет нас, будто пичугу за пазухой.
И пасекой пахнет.

А в Суздале — Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, ворошье.

Ты в щеки мне шепчешь про детство твое.
То сельское детство, где солище и кони,
и соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих...

В России живу — меж снегов и святых!

Нас посещает в срок —
уже не отщучусь —
не графоманство строк,
а графоманство чувств.

Когда ваш ум слезлив,
а совесть весела.
Ищет какой-то слив
седьмого киселя.

Царит в душе твоей
любая дребедень —
спешит канкан любвей,
как танец лебедей.

Но не любовь, а страсть
ведет болтанкой курс.
Не дай вам бог поднасть
под графоманство чувств.

* * *

Н. А. Козыреву

Живите не в пространстве, а во времени,
минутные деревья вам доверены,
владейте не лесами, а часами,
живите под минутными домами

и плечи вместо соболя кому-то
закутайте в бесценную минуту.

Какое несимметричное Время!
Последние минуты — короче,
последняя разлука — длиннее...
Килограммы сыграют в коробочку.
Вы не страус, чтоб уткнуться в брненное.

Умирают — в пространстве.
Живут — во времени.

Строки

- Дышит флейтистка в жемчужную флейту...
- По Фрейду.

- Отобразите драму Сантьяго?
- Сотняга.

- Как вам творения Хакуся?
- Указапья?

- Ваша наследная ДНК?
- Деньга.

Божественно после парилки
в реликтовом озере Рильке!..

Проводница

Ты служишь проводницей в поезде,
разносишь чай или буфет.
На платье темное — от пояса
передник беленький падет.

И в этом стирапом переднике —
как будто церковь из воды —
есть отражение неведомой
и затонувшей чистоты.

Судьба тебя несет по свету
меж пьяных и почпых забот.
Давно, что отражалось, пету.
По отражение живет.

Когда-нибудь прозжий деятель
Покров увидит на Нерли.
Поймет, чему он был свидетель...
Тебя составы унесли.

Человек пест по свету стол
на спине, как пужно со столами,
будто мебель в небе расставляет.
А когда он выпить отошел,
стол висеть в пространстве оставался.

Ангелы сидели за столом,
завтракали, вниз челом висели.
К ночи он вернулся, утомлен.
Присоединился к новоселью.

У столов, небесных и волшебных,
званные сидят с шести сторон.

Квартира

Кто в квартиру сгоряча
сунул ключ от «Москвича»?
Вся квартира затряслась
и, чихая, завслась.
Газ!

Полстела с завываьем!
Как прицеп — санузел с ванной,
в ванной пежится соседка,
фен засунула в розетку.
Пролетая пад народом,
не спускайте в ванной воду!

Увели тебя красиво.
Толпы взрослых и детсад —
все гонялись за квартирой,
но квартиру не достать.

Где летаешь ты, квартира?
В чудесах большого мира,
где порхает меж ветвей
благозвучный Коровей.

Он пароды обзирает,
он романсы распевает,
оттого и нелегко
достать итичье молоко.

Что видала ты, квартира?
В облаках летает с лирой
неоклассик, как Пьерро,
в спину всунувши перо.
Перо всунул — полетал,
перо вынул — написал...

Хорошо летать без трассы,
оглашая небо Штраусом,
для квартиры у властей
нет предела скоростей...

А внизу, разинув рот,
дом покинутый орет,
как без ящичка комод:

«Кто ж в квартиру сгоряча
ключ сует от «Москвича»?
Надо бы от самосвала,
чтоб все зданье полетало».

Кровь моя пела, в истории странствуя, —
полудуховная, полукрестьянская.

Я ли повинен за жизнь неизбежную —
полуполынную, полунебесную?

Вдруг разблокированной генетикой
что-то проснется некабинетное —

под кнутовищем в полях полотняных
вой крепостного ипопластянина!

В больничном саду воскресник.
На липы и на дубы
халатики, встав на лесенки,
накладывают бинты.

Халатики отлетели!
Но снятся дубам с тех пор
ментоловые метели
взволнованных медсестер.

Медсестра Тоня, дело молодое,
сказала — за полотешцами...

Крыса в родильном доме
проела щеку младенцу.
«Сейчас введем против шока.

Я одна, а крыс много...»

Крыса, почти с дипломом,
крыса, забывшая Бога,
крыса в родильном доме
проела младенцу щеку!

Крыса, мы все долдоним,
все обо всем высокою.

Крыса в родильном доме
проела младенцу щеку!

Спасаем людей на льдине,
на Марс засылаем просекты,
крыса в доме родильном
младенцу щеку проела.

Крыса в доме родильном
проела младенцу щеку.

Дай бог тебе, Тоня, сына.
Храни его, ради бога.

Индийская корова

Коровы священное имя
Господом мне дапо.
От меня и дерьмо — святыня.
От вас и святыни — дерьмо.

Странен мир безалкогольный!
И стоят среди страны,
как холмы без колоколен,
безбутыльные столы.



Русская интеллигенция

*Интеллигенция,
как ты изолгалась!
Читаешь Герцена,
для порки заголясь.*

Ей несут, интересничая,
похорошние ленты.
Антиинтеллигенция,
а не интеллигенты.
Антиинтеллигенция,
а не Хлебников Витенька,
озверев, верховенствовала
на расстрелах и митингах.
Эти «антиинтелигэнты»,
как себя они чествовали,
вытраивали в нас гены
Лобачевского, Чехова.
Педоучки взрывают.
Богом призванный строит.
Гений пишет алфавит
не чужой — своей кровью.
Среди наций телесных
наш единственный признак —
русской интеллигенции
исчезающий признак.
Пред судьбой ее шаткой,
что сейчас тает с голоду,
я сниму свою шапку,
слава богу, не голову.
Соглашусь с телецентрами:
твикс — куда искусительней!..
Но без интеллигенции
нет России.

Памяти Г. Ш.

В свое последнее рожденье
уже оттуда прилетал.
Мы вместе ехали. Раздельно
глядел, как будто из зеркал.

Невесело шутил Барышников,
принц иронический, Парижников,
его с Плисецкого гала
ты ждал. Просил под водку рыжиков,
по чувствовал себя паршивенько.
Тебя подруга увезла.
Ты был улыбкою таланта,
укором веку своему.
Тебя бездарность утомляла.
Ты не любил его баланды
и кулинаруил потому.
Что написать? «Геннадий Шмаков,
ты не любил в душе банмаков».
Строка понравилась тебе.
Строка была за всякой графью.
Ты улыбнешься из-за грани...
Вот все, что можно между нами.
Вернется прах, отпетый в храме,
на родину. Но ты, ты где?..

Ни в Ленинграде. Ни в спецхране.
Ни в USA. Ни в СПб.

* * *

Смеюсь, когда Вы в угаре
вопите из-под ворот.
Ругайте меня, ругайте!
Когда ругают — везет.

I

Я вышел в сад. Из сада
плыла в окна фасада
рапсодия распада

— в деревьях полуночных,
в незыблемых громадах
наращивала мощность
рапсодия распада,

во рвущей сердце грусти,
в критической нагрузке
бетонной эстакады,

в несущихся свободах,
в твоей душе разъятой,
в стремительных разводах,

в отпущенных солдатах,

в напрягшихся границах,
в общественных гранитах,
распавшихся в крупницы,

в тоске, в видеоклипах
и в дулах автоматов,
в футлярах из-под скрипок,

в призывах Газавата,
в откатке в Зарубежье
летела центробежно —

На побе след смычковый от Пскова до Невады
и на душе вечерней.

Сыграй мне, Ростропович, рапсодию распада,
виолончель влеченья!

Сыграй без исключения Ростроповичиаду
художника и черни.

Ты, как мулатку в зале, к себе поставишь задом
виолончель влечения.

Я навещал вас ночью, в года, что нет почнее.
Влекли неодолимо
тяжелый подбородок, что схож с виолончелью,
и гневная Галина.

В пуленепропицаемом окне рассвет топорщится.
Влеку нас, Ростропович.
Не из страны — из тела — уход и возвращенье,
виолончель влечения!

Молчала за оградой
критическая масса,
распутица расплаты.

Меж основоположников
толпа давила ложников.
Шла рабская топтада.

Сыграй людские души, играй небесный почвенник,
расправу после «браво».
Чего же в душах больше — Бога или подлости,
Слава?

Мсти, Слава, за все бездны, за шаткий путь без
поручней.

Отмщенье — в прощеньи.
Уводит нас небесною тропой Ростроповича
виолончель влечения.

— Не след виолончельный!
На сием чулке неба
спустившаяся петля.

Она не вивовата!
Просто душа совпала
с рапсодией распада,

в несущихся утратах,
в сместившихся сатрапах
полураспад Урарту,
в непонятых свободах
наращивала коду
распадения рапсода

Вошел я в дом обратно,
чтоб эту коду вырубить

— в телепрограмме выборов,
в распутных кадрах Вырубовой,
в божбе парташарата,
ревела хит-парадом
рапсодия распада.

Сидела у экрана
критическая масса —
едным сонным глазом
от Омска до Кавказа —
следила за свободами
и жаждала расправы,
подзарядив в стаканах
мистическую воду.

— Зачем все это строили?
Чтоб после разрушали?
— А из чего бы строили,
когда б не разрушали?!
— А с будущего года —
не «стронций-90» —
«эстонцы-90».
— Дави интеллигенцию!

Из ваши рвались в дебаты
их дамы в полотенцах
на лбах, как Арафаты.

А малыс арфята
на прутиках балконов
играли палкой поты.

Спасите ваши туши!
Связь жпвота и зада
затягивайте туже.

Заткните уши ватой!
— в стремительно растущих
подростках на питратах —

отваливались плитки,
разваливались семьи,
штаталось государство,

подавленный рапсодией,
поддатый пел: «Посодюют!
господа, давайте распадаться!

Аспазии абсурда,
пошли сдавать посуду.
Мы — бапки из-под ада!»

Вошел в себя. Отвратно —
расподня роусада.
Вошел в тебя. Ты рада?

Но тебя в тебе не было.

III

Нетронута распадом, идешь по Ленинграду,
как раньше Маросейкою,
заткнувши уши Бахом, читалка пелегального,
студентка Милосердия.

В одной серьге — так надо,
закмунив солнцу носик.
На майке надпись: «МАДЕ
in Петербургъ». Так посят.
Но что-то в тебе новое.

Дочь матери Терезы
Ты везешь в палату
афганца на тележке
по гипсовому саду

Ты подмываешь бомжа и полутруп старухи
берешь ты дело Божье в персиковые руки
В клиническом подохе с коллегой непоспата
ты полутруп эпохи смываешь от распада

Потом на общем пляже
на лежаке дощатом
раскинув руки ляжешь
классически распята
не Сып а Дочь Господия
пльвешь водой опасною
В смысле креста сегодня
у нас — эмаспинация

где ты — совсем другая — чулками голубая
 загар продемонстрируешь спортивная Даная
 плывешь освобожденная на этаже на пятом
 творит «группа захвата» топтодию отпада
 спустившаяся петля бежит к небесной пятке
 листи топчаш дощато
 ильце измеренья

и говорит невыбранный:
 «Мы этот садик вырубим.
 Под здание детсада»

IV

Я вышел в сад обратно.
 Сад не переменялся.
 В усталых арматурах
 из наркоароматов
 цвели гелиотропы.

Я понял — рядом дуло.
 Над грязными газонами
 шел из окна в Европу
 сквозняк в дыру озонную.

Из этого-то хода
 пеллись ключки свободы,
 великий дух народа,
 и подлый дух народа,
 и Слава в «мерседесе»,

Из маленького ада
летим к больному Аду,
который не воронка,
а сам — процесс распада.

— Давайте
на лучшее

распадаться!
и худшее!

Поэт в
настан
музыку

пальто валютном
вает: «Слушайте
эволюции!»

Летит табло:
оставь, сюда
Надежду я
Не выбросил
С огарочком

«Надежду
входящий».
— оставил.
иду.

Критическая масса,
критическое время
критической надежды.

Вдруг, как и встарь, предшествует
расходя распада
новейшему Пришествию
Господнего распятия?

* * *

Когда народ-первоисточник
меняет истину и веру,
печален жре б и й одиночек,
кто верен собственному векто ру.
Среди виляющих улыбочек
и мод, что все перелопатили,
мой путь прямой и безошибочный,
как пищевод шпагоглотателя.

За окном карнатиды,
а в квартирах — каблуки...

Елок

крылья

реактивные

прошибают потолки!

Что за чуда нам пророчатся?

Какая из шарад

в этой хвойной непорочности,
в этих огненных шарах?!

О, девчонка с мандолиной!

Одуряя и журя,

полыхает мацдаринном

рыжкой челки кожура!

Распалилась, точно школьница,

иглочки грызет...

Что хочется,

чем колется

ей следующий год?

Века, бокалы, луны...

«Туши! Туши!»

Любовь всегда —

кануны.

В ней —

Новый год

души.

А елочное буйство,

как женщина впотьмах —

вся в будущем,

как в бусах,

и иглы на губах!

* * *

Когда я когда-нибудь схохну,
не мучай травы и грибниц,
на эту последнюю хохму,
поняв меня, — улыбнись.

Когда пойдешь ночью с покупками —
то я впереди пробегал
и длинные ртутные трубки
на черных стволах зажигал.

Узнай меня через пустошь,
приметы замашек моих...
А если ты в городе будешь —
то я тебе вызову лифт.

Музе

(Подпись на избранном)

В садах поэзии бессмертных
через заборы я ситал,
я все срывал аплодисменты
и все бросал к Твоим ногам.

Но оказалось, что загадка
не в упоенье ремесла.
Стихи ж — бумажные закладки
меж жизнью, что произошла.

РОССИЯ ВОСКРЕСЕ

Поэма

Слава Тебе за указание тайного голоса,
слава Тебе за откровение во сне и наяву...

Икос 10

Акафист Благодарственный

Слава Тебе за то, что Ты окружил нас
тысячами Твоих созданий.

Икос 3

I

Предначертательный Псалом

1. Я Пасху пишу на дощатом павесе —
2. «Россия воскресе!»
3. Над черной дырою на том самом месте,
4. где мы провалились, где жили в острейшей
5. тоске неземного, поверивши дезе.
6. Мы — нищие Крезы.
7. Всемирною нищенкой на протезе
8. *Россия воскресе!*

9. Я ползаю по скорлупе из асбеста,
10. стелю под подошвы некрологи в прессе.
11. Мы, ставя антенны, сломали скворешни,
12. но только в скворчатах Россия воскресе!

13. Ты помнишь, как мы заблудились в Залесье?
14. За что нам возмездье?
15. Мы разве живем? В многоразовом презе-
16. рвативе экрана упосят нас «Вести»,
17. в края, где Каланшиков ценится в песо,
18. где пулей черкеса из «мерседеса»
19. подрезали геза-головореза,
20. рязанского, может. Всем без интереса.
21. Осколки России — диагноз болезни.
За что нам возмездье?

22. Мы — в мире без нас. Где бурнусы и пейсы
23. в тоске Гоба Дилана по Одессе,

24. в сиротском, врага потерявшем конгрессе.
 25. Как тоска тоскует по антитезе!
 26. Пропавшее слово в глобальном контексте —
«Россия воскрес!»

27. За что нам возмездье? Диванчику в ренсе,
 28. где спишь ты, свернувшись в калачик, как скренка,
 29. а утром встречаешь меня с первым рейсом,
 любовью воскресе...

30. Чем мы провинились? Что пьем варенец мы?
 31. Иль тем, что в глазах твоих плыли от леса
 32. вспышки зеленого вероизеза?

- Тебе обещаю: «Россия воскресе»,
 33. хоть сам я не верю в чудеси-пездеси.
 Пас нету согласно законам Паскаля.
 Я предпочитаю законы пасхальные.
Россия воскресе.

34. В следах от помады зардела скворешня.
 35. Светают домов золотые обрезы.
 36. И может быть, в этом стихотворенье
Россия воскресе.
 37. А вдруг се пету, как чудица Песси?

Псалом совести

38. Мой прадед-священник явился из скверны.
 Сказал: «Вы страну загубили в скабресе.
 39. Отпыне в словах твоих — хоть упейся! —
 появится эхо — *«Россия воскресе».*

40. Пропавшую рифму ищу в поднебесье.

Гипсовый Псалом

42. По куполу глобуса, вспомнив профессию,
 43. пишу синим флейцем,
 44. на гиндукушском рисую эфесе,
 45. на эйфелевом корсете,
 46. на буинском мстительном ирокезе, —

47. слова подбираю, как шифры на кейсе,
48. дал полс-чудесный церемониймейстер
четырнадцать клеток —

		С	С					С				С		
--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

49. на камнях Катюши — приветик Валенса! —
50. на Плаче степы, как на белой дискете,
51. на русской церковке Марии, все крепче
52. стоны Гефсимана обнявшей при въезде,
53. и где твой нью-йоркский поблескивал крестик, пишу Твое
имя с приставкой «воскресе»

54. и не замечаю, как в мрак ноги свеса,
55. боль бомжа пишу я на вилле Боргезе,
56. и стоны старухи о райсобесе,
57. десяток яиц стоит тысячу двести,
58. и нищие взгляды вцепились, как клещи, —
вдруг с помощью Божьей и правда воскресе?
59. За что нам возмездье? По Маросейке
60. бежали пенависти отсеки.
Из стойла рабсилы, из ваксы бесчестья
небесной апсидой Россия воскресе!

А кто-то добавил — «Мария воскресе».

Псалом первого слова

65. Из Яффы летит апельсин над апрельской
66. Марией. Досель понимавшая в чреслах,
67. она поияла Его сутью безгрешной.
68. Воскресший к ней первой явился. И перси
прикрыв, первой в мире сказала: «Воскресе».
69. Приехал Есерков, из южных эсеров,
70. в руке его тикал букет эдельвейсов.
71. А я на останках империи Ксеркса
72. писал знаки Пасхи. И танки, как пресс-па-
73. пье, кровь промокали одноверцев.
74. Она побежала к Петру. Ее версии

75. никто не поверил. Для денег на ксероксе
 76. не хватит бумаги. В Империи скверно.
 77. Туманны созвездия Троице-Сергиевские.
 78. Твои телевизоры, вдетые в серьги,
 79. транслируют Сербию. И Анне Вески.
 80. Но смысл мироздания был в маленьком скверике,
 где мидалевидная Магдалина
 глядывалась в Неизвестного.
 81. Оставив границы, из тела и Текста,
 82. как из Плащаницы, прощенье воскрес!

А вдруг я убил ее с вами вместе?

83. Умресе твои упыри в кариесе!
 84. Грехи умозрительные умресе!
 85. Не Урмас, Госнодь призывает ответствовать,
 86. Ты, Госноди, — гений или злодейство?
 87. Не по-христиански творить возмездье!

88. Я в Курске до света с пацанкой беседовал,
 89. что ищет скелеты в лесу бересклетовом,
 90. пронавшие без вести, с пулюю «мессера».
 91. Ты их воскресишь, двадцатилетних.
 Скелеты умресе, взор синый воскресе.
 Ей-то за что возмездье?

92. Скелеты по факсу общаются весело.
 93. Скелеты меня обнимают при встрече.
 94. Скелетик воды акварелью повесили.
 95. Скелеты умресе — искусство воскресе!
 96. Читатель, умаялись? Извинесе.

Псалом второго слова

97. Матфей стоял в очереди за гречкой,
 она закричала ему «воскресе!»
 98. «Вонститу», — им милицейский отвечивал,
 99. яичку кокардой цветной соответствуй.
 100. Потом она пасхи месила и кексы,
 101. цукаты, засахаренные орехи,

102. закаты пародов, надежды, огрехи,
 103. Москве недоступные деликатесы, —
 104. за католической Пасхой, еврейской,
 105. идет православное благовестье,
 мы Слово ее повторяем безгрешное.
 106. И проститутток расстреливал крейсер,
 чтобы не промолвили это «воскресе...»
107. Под стенью башкирской я чувствую рези.
 (Мне виделось золото купола Невского.
 108. Его отраженье — как рюмочка хереса.
 А как его выпить, увы, неизвестно...)
 109. Крихели с артелью внимательным рейсфе-
 110. дером корректировал мои ереси.
 У Криса поехала крыша. Но если
 я явственно слышу — «Россия воскресе!» —
 111. в распадах Булеза, в сложинке Плисецкой,
 112. в астафьевских «затёсях» или «затёсях»?!
 113. И в шепоте леса,
 114. где белые с черным берез дизезы
 кричат безответно: «Россия воскресе!»
115. В лесу раздавался топор дровосека.
 116. Раскольников тренировался на секции.
 117. Мозги старушки хранили генсека
 118. и музыку Пресли.
119. Как ты не нравишь мои курслены!

Салонный Псалом

120. Пишу я, дыша эпоксидную смесью,
 121. скелет скорлупы покрываю словеспо.
 122. Уйдя в видеомы, художеств паперсник,
 123. я истосковался по рифмам, по перлам
 124. Твоих выражений, Твоим фельдперсам,
 125. по прошлому, сброшенному на кресла,
 126. по ненормативной беспамятной лексике,
 127. что пахнет кофе и ломтиком персика...
128. Не первым я был у тебя, но я первый
 129. Тебя воскресил из хрустального стресса.
 Красиво исчезла — красиво воскресе,

130. заместительница возмездья!
 131. Претензии женщины чисто имперские.
 132. Империалистка, палей-ка искрейшего:
 «За упокой Империи!»
133. Мария из косм выдирала репейники.
 134. Как плавник акулий, сверкнул волпорезы,
 135. ростральной колонной Россия воскресе.

Псалом слова

136. Что в нас воскресает? Народное зверство
 137. над одиночкой? Народное сердце,
 138. простившее адские муки репрессий?
 139. Зачем Он доверился женщине бездны?
 А может, не надо, чтоб это воскресло?
 140. Зачем Достоевская эпилепсия?
- Планета теряет без нас равновесье.
 141. Возмездьем несло из могилы отверстой.
 142. Пяту ампутировали Ахиллесу.
 143. Бессмертие было. Совсем охеревши,
 144. полкурицы мчалось. Вернулся Вольф Мессе...
 С «НГ» было плохо. Рашидов воскресе.
 145. Урезали пеней. Все взбеси депресси.
 146. «Гомер я», — аппендикс выл, требуя секса.
 147. Мы — дыры сознания в безумном процессе!
 Как терка, толпа состоит из отверстий.
 148. В них ненависть хлещет — святили ЛЭСы —
 в дырявое время. За что нам возмездье?
149. Операция без анестезии...
 150. И дыры без труб завывают в оркестре.

- За что нам возмездье? Не мы же поместья
 151. сжигали? Блевали на столик принцессы!
 152. За что нам повестка? За грезы прогресса
 России возмездье? Россия воскресе.

153. «Господа, вам нужны великие потрясе...»
 154. Россия — возмездье. Оборвана пьеса.

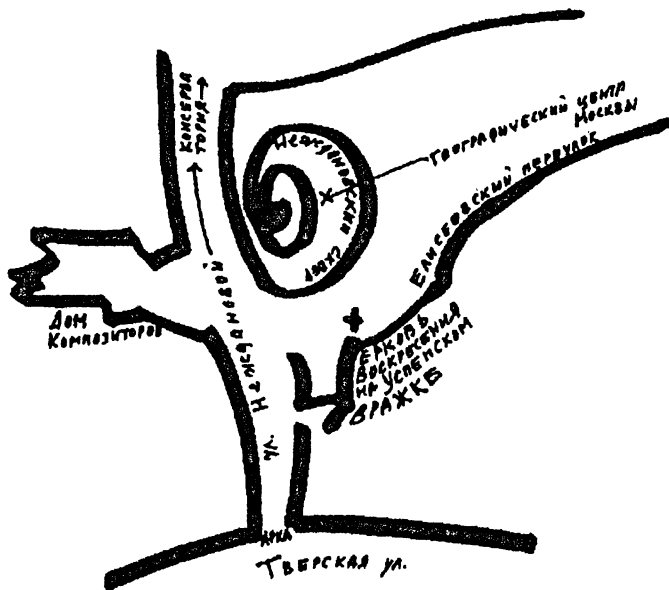
Вербный Псалом

155. Напротив шла служба. Метельной завесой
 156. плыл храм Воскресенья. Господни невесты
 157. Цветную Триодь выносили для песни.
 158. В неждаповском скверике было тесно
 159. от прелестей бездны и женщин небесных.
 160. Товарки Марии кадрили полпредства.
 161. И ненависть была, как газ из отверстий.

162. Я думал, как Он изменился, воскресши!
 163. Мария Его не узнала. У skleпа
 164. садовник ей виделся в затрапезе.
 165. — Мария, узнай меня поскорее!
 166. Россия, узнай мои руки, колени!
 Омой мои муки слезами ослепшими.
 167. Вдруг мы не узнаем России воскресшей?
 168. Узнай нас, Господи, в талом клейстере!

169. Есерксов настраивал эдельвейсы.
 И смысл неизбежный клубился над месивом.

170. Тебя еще больше люблю в эти месяцы.
 171. Обнимемся крепче под востром возмездья.
 При свете экрана — любовью воскресе! —
 172. похристосуемся при Съезде.
 Похристосуемся, Неизвестное!
 173. Похристосуемся, дыры бездны.
 174. Похристосуемся, буревестник,
 175. отставной провокатор бедствий.
 176. Похристосуемся, бесы,
 177. друг, предавший меня из спеси,
 вера, всех предавшая вместе,
 похристосуемся, критикесса.
 За Мариюю вслед — Каренина
 178. похристосовалась с рельсами.
 179. Похристосуемся, крестники.
 Скорлупа треснула.
 Вылупились песни.
 Не уехал я в край сиесты,
 чтоб Тебе прошептать «Воскресе».



Многогласный Псалом

180. — Русь, ты вся поцелуй на морозе.
 — СССР поцелуй на Мавзолею.
 — Похристосовались бы в Форосе, в Меласе,
 — В Сухуми, милаша...
 — Улисс, не засовывай в уши воск лести!
 — Не псалом, а Шолом-Алейхем...
 — Я отколупнул скорлупку, а там коленка.
 — Керенки воскрес!
181. Две молнии в туче взвились как «эсэсы».
 За ней кто-то шел. «Блядоходный повеса», —
182. решила Мария. Но кто глыбу гнойса
183. спес с входа в пещеру, грунта не соскрести?
 Был свет незнакомый знакомым допельзя.
184. Мы въехали в Ерус — трансляция кнессета с роком
 мешалась — алима предместье.
 Ты в жизнь мою въелась, как уголь древесный.

185. Щекочут ресничек тычинки и пестики.
 Нам Бог открывается лишь через грешницу.
 Таились мессии в садовых насестах.

А что говорили другие Марии?
 — А кто вы такие? — спросила Мария.
 — Слова-то какие, — сказала Мария.
 Сказала Мария: «Россия воскресе».

Псалом солнца

186. Кесарю кесарево —
 Воскрешему воскресово.
- Скворцы прилетели. Россия воскресе.
 Сквозь тучи прорезался месяц коисервный.
 Фарца в важных креслах. Разруха. Но если
 скворцы прилетели — Россия воскресе.
 В отеле «Россия» наряд милицейский
187. сменили ангелы милосердные.
 Прощень! Прощень! Отец, мать воскресе.
188. Воскресе стрекозы, как тень от дуперстия.
189. И крестик серийный в сирени порсейшей,
190. и в вязаной шапке Твоих происшествий.
 Есерксов обертывается: «воскресе!»
 Воскресе, враг. Гирей противовеса
 нас взвей в поднебесье!
193. Воскресе стихи на страницах «Известий».
 И в каждой из женщин Мария воскресе.

Я слово «прощень» пишу на возмездье

194. в масс-медиа мессе.
 195. Любовь — это ненависти конверсия.

РОССИЯ ВОСКРЕСЕ. ЛЮБОВЬЮ ВОСКРЕСЕ.

Стереопсалом

- I. Россию хоронят. Некрологи в прессе.*
II. Но я повторяю — Россия воскресе.
III. Помолимся вместе за тех, кто в отъезде,
IV. за ближних и дальних помолимся вместе,
V. за тех, кто страдает и кто в «мерседесе»,

- VI. за божжа, что спит не на вилле Боргезе,
 VII. пусть с помощью Божьей Россия воскресе!
 VIII. Хоть кровь ежедневная вносит коррекции
 IX. в надежды на воскрешенье скорейшее,
 X. помолимся вместе за песни из пепла,
 XI. за то поколение, что выбрало пепси.
 XII. Мы, ставя антенны, сломали сквореини,
 XIII. но только в скворчатых Россия воскресе.
 XIV. Целуйтесь на сквере, рифмуйтесь в подъезде!
 XV. Обряд многократный любви повтори.
 XVI. Тебя я люблю. Ай лав ю. Ай эм крейзи.
 XVII. И нет демократии, кроме любви.
 XVIII. Тебя еще больше люблю в эти месяцы.
 XIX. Нам, храм Воскресенья, врата откры.
 XX. Стоит на балконе людей эдельвейсы.
 XXI. Россия воскресе, воскресе в любви.

Р. С. Псалом

196. Как двести поклонов пустынный в аскезе,
 197. шепчу — вдруг спасет Тебя? — строк этих двести.
 198. За слог мой оборванный, Отче Небесный,
 199. прости раба Божья Андрея Вознесе...

II

Псалом второго дыхания

- Судьбой, принимаемой за инсталляцию,
 на третью ночь после 18-го
 — 200. я крикнул «Воскресе!» с помоста, как с пристани.
 — 199. «Воистину!» —
 — 198. мне дух, за толпу принимаемый издали,
 — 197. ответил в пейзажном сквере безлиственном.
 «Воскресе» рифмуется только с «воистину».
 — 196. «Я выстону, —
 — 195. думалось, — боль вашу выстрою
 — 194. дырою, орущей, разицувшей гицину».
 — 193. И пищепки цели под свечку актрисину:
 «Вонстину...»

Быть странно орущей дырою в России,
 когда все орут сквозь тебя, воя истину.
 До крови исповедью разицув.

- 192. Потом все орут на тебя. Так же искренне.
Но в криках «вались ты!» я слышу «воистину!»
- 191. И дух, за бомжа принимаемый издали,
- 190. дыру трактовал: «Чудотворную спиндили».
- 189. «Брависсимо», — наши вопили вориссимы,
- 188. и пахли канистры ценой независимой.
- 187. Хотелось, вернуться в Ижевск из Устипова,
- 186. воскреснуть воистину.
- 184. И яйца над храмом окраски матиссиной
- 183. молились юродивому Василию.
Как нам разгадал бы кроссворд по Листьеву?

		С			С	
--	--	---	--	--	---	--

- 182. Но все это было, увы, невоистину.
- 181. А кто виновники неважистные?
- 180. Судья просит срок, а поэт — амнистию.

- 179. Не ведали рифмы Овидия «Tristia».
- 178. В сближении слов есть предчувствие христия-
- 177. нского поделуя. Но первую дистан-
- 176. ционную рифму, в тоске палестинской,
- 175. вдохнула в нас женщина группы риска.

Псалом Сольвейг

- 174. С утра холодило. Подобно ватину,
шли мокрые хлопья. Вдруг небо расчистилось.
Презрев институты, забыв магазины,
стояла всеобщая Магдалина —
- 173. душа, принимаемая за туристку,
- 172. за дурь принимаемая фрейдистскую,
- 171. за бабу с редиской, за отроковицу,
- 170. за шелест имени Селестина.
- 169. Стояли, измучась дороговизною.
- 168. И было радостно, хоть и выстраданно.
- 166. И ты, за свечу принимаема истемпа,
- 165. стоишь, согреваясь движением твиста,
переминаясь в ботинках — прости меня!..
- 164. Стояли, спасая страну ивасиновую.
Шептали: «Воистину», — слово Пречистое
Святой проститутки из Палестины.

Видеопсалом

- 163. Не белую чашу с полночного выступа —
я родину на осмеяние выставил.
- 162. Освистана,
- 161. стояла она, матерщиной надписана,
ее пьедесталы мочою описаны,
но лица светлели от отвеса гипсины,
- 160. и лазали дети на радость Фонвизину,
из дырок торчали чумазые физи —
Россия в скворчатах воскресе воистину.
«Списписис...» — им пишут вокруг глобуса кисти.
Пусть спится Вселенной под дождик таинственный.

Бог — тезка Гребенщикова Бориса —

- 159. БГ признается (штанины вмятнистипу!),
чтоб я оклемался, на трассе разбившись, —
- 158. он свечку поставил. С тех пор фаталистую.

Но черною чашею тень исполинская
проплыла по зрителям и исполнителям.

Да мигнет нас чаша сия, Россия!
За что твои беженцы во поле стынут?
Ужель Севастополь, хрущевский гостинец,
Толстым защищенный и флота любимец,

- 157. войной в нас заложен? И наши баллисти-
ческие ракеты на нас же с присвистом
из дыр преисподней вернутся сегодня,
- 156. взяв курс на Пречистенку вместо Принстопа?!

Дай Бог, чтобы это все невоистину.

Автопсалом

Молюсь Ти глоссолоалией формалиста.

Не понимающий, что записываю,

- 155. России последний евангелист я —
- 154. Голгоф, принимаемых за Пречистенки.
В Москве, принимаемой за столицу, —
верхом на метелях летят ангелицы —
пищу Твои мысли, обмолвки, Мытищи,
- 153. смерть, примаемую за велосипедиста,

- 152. в траве, принимаемой шинами лысыми,
- 151. Твои смутившиеся аметисты —
молюсь Ти: «продлись Ти, не запропасти Ти»,
молю Те разлуки, Те избы, Те пристани,
- 150. сквозь политическую апокалипсисину
впишу от себя Тебе слово «Воистину» —
- 149. душой, принимаемой за стилистику.

Спустишь Ти
шина Как с глушителем выстрел

Псалом 2

- Зачем запретил Он коснуться молитвенно
Марии, к нему простирающей кисти?
- 148. Чтоб не облучить ее? Тень кипарисную
напоминал Он Сияя, струился.
Потом растворился в рассвете малиновом.
 - 147. Кем камень отвален? Отвальная. Искариота
искать уже было бессмысленно.
«Учитель, — подумала с укоризною, —
зачем, не коснувшись, расстаться предписано?»
- «Воистину страшно, мне страшно воистину,
— 146. что я не увижу мою воспитанницу.
Увижу иную, но не земную.
Отец наказал твою землю дурную.
Мы расстанемся без поцелуя.

Ты станешь искать мои губы в пустыне
людской. Я оставил свой след на холстине.
Двумя остаемся словами простыми.
Падут и подымутся новые Римы.
И нас миллионы, забыв атавистину,
повторят земными устами своими.

- Мы в их поцелусе неостановимом
воскреснем воистину.
- 145. Воистину жизнь нам дается во милостыню».

- Плыл дух, за людей припимаемый издавна,
— 144. плыл призрак, за жизнь припимаемый сызнова,
и власть, припимаемая за истину,

братоубийство — за независимость.
 Держав угасаешь. И слова касаешь.
 Воскресе в любви, чьи законы пеписаны,
 и нет доказательств, кроме «воистину».

Псалом благодати

- 143. А после любви он чихает. В гостипице
- 142. смеются: «Во время? Нет, после взаимности!
 Гость после мэйк-лавки чихать ка-ак примется!»
- 141. На что аллергия? на чью-то душистицу?
- 140. Подруги меняют сорта Диориссимо.
- 139. А он все чихает, хохочет всластистину,
- 138. в слезах очищенья! А может, в иштимностях
- 137. у ей табакерка? Заявка на Гипсеса?
- 136. Она, значит, в ванну, а он — в апчихистицу?!
 Как там у Апчихова? Ему б чаепитье!..
- 135. Обчистили помер. А он в сладком приступе.
- 134. Чихает в Чикаго, в Саратове, в Вишнице!
 Шатаются стены. Летит черепица.
- 133. Апчественность в шоке. Закреть визу свиштусу!
 Ах, черт, все чихает, в минуту Пречистую...
По-русски «апчи» означает «воистину».

Музыкальный Псалом

- 132. — К чему бы, Таисия?
- 131. Мне снится, что я выступаю арфисткою
 в какой-то пустой Сальвадора Далине,
 и кто-то вошел. Не выдать за софитами.
 Но свет воскрешенный, как струны, струится.
 И Он мне сказал: «Прикоспись, Магдалина».

А я в своих джинсах под пряжкой армейскою,
 я блосе платье не смоделировала.
 Я не пошимаю по-арамейски.
 Но Он мне сказал: «Прикоспись, Магдалина».
 Пошло пианиссимо, знаешь, Таисия...

Псалом грез

- Что снится нам в яви? Я сонник выписываю.
- 130. «Дерьмо снится к деньгам». Скажу без хвастистицы:
- 129. Дерьма у нас много. Дерьмо растет систе-
 матически. Тесно ему в Отечестве.
 Денежная масса растет соответственно.

Псалом мод

Попса ломится на спуск Васильевский
 попсаломиться Я тоже выстулюю
 (конечно, мысленно — сквозь гип-гипсину):

- 128. «Живите по сердцу, а не по Гибсону!
 Эпоху винтиков сменили видики.
- 125. Я за деятельность интенсивну-
 ю-ю», — подхватили, трезвы несильно,
- 124. пацан и мужик, десять лет в отсидине,
- 123. заевши ситным с репринта Сытина.
 И я разорвал выступление стильное:
- 122. «.....орическую шестерню?»
- 121.ню, пришиваемое за «Three sisters'юю»
- 117.....вободу транзисторную,
- 116.....лови струю!
- 114.....иск Ассизск
- 113.....явись, Ты!
- 112.....лимонов за триста, ну?
воистину».
- 111. флейта, припимаемая за клистир,
- 110. звучала мукой авангардиста.
- 109. Ряженных, ряженных! Простим Бастилию.
- 108. Хохоту! Каялись б. властители.

Весна хохотала, плясали школьники,
 подняв двушерстя, как раскольниковики.

- 107. И голубь чихал — к Благовещенью чистился.
- 106. Вий телевийствовал.
- 105. И, отделенная от действительности,
- 104. мертвой головы сюрреалистична
- 103. счихивала витязя.
- 102. И все это тоже были истины.

Псалом 3

Примите бесалол, Абессаломы

- 101. воинственные.
 Против псалома нету приема. Воистину.

Профессиональный

- 100. — Ну, какая я дум властительница?
Мы все — гостиничные Магдалины.
Повсюду кающиеся мордины!
- 99. Страна берет — от Кремля до Диксона.
- 98. Дай шефу, дай приставу, дай водителю.
- 97. И все в тебя лезут без вазелина.
- 96. Россия даст осетину и Иштвану.
Оизденевшая от безденежья,
в толпе принимаемая за Незденнюю,
я тело снимаю, как прозодежду
от Валентино.
- Я подрабатываю дырою, как Вы душою, —
прости за исповедь.
Попробуйте жизнь за зеленью выстоять:
в колготках, примерзших к первопричине!
- 95. Я паспорт сменила — еще серпистее.
Пойду проповедовать у Вестминстера
основы нашего профессионализма.
- 94. Ораторов наших заткнуть бы сиською!
- 93. Все брешут!
НУ, ГДЕ ЖЕ ФРАНЦИСК РОССИЙСКИЙ?!
- Мне снится, что я выступаю арфисткой.
- 92. Пошло охурительное пианиссимо!
- 91. И я поняла, что попала анстипо...
- 90. Сама я рожу для себя Спасителя.
- 89. Шампунем поженьки ему выстираю.
- 88. Мне снится — с коляской иду батистовой.
- 87. И хурь подойдете ко мне на выстрел!
Вы все — Магдалины, но без воистину.

Псаломничник

- Ветрено!
- 86. Сбивает головы, как пулей вестерпа.
Морозоустойчивые истицы,
- 85. интеллигентки мороз сволочистили.
Как с фрески софийской их лица (офици-
альных лиц не было) или с Уффици.
- 84. Кто в нашем кругу? В ореоле софитов

- 83. в псаломный подсолнечник судьбы притиснуты.
Ты — темное семечко с мыслью дитяти,
вдоль тела с каемочкой адидаса,
- 82. куда ты, истенок, сбежавшая из дому?
- 81. Откуда ты молнию помнишь вольгистую?
- 80. И камень пещеры, как вытянутый из стены?
И как ты впервые сказала: «Вонистину».
- 79. Никто не поверит в твою спиритистину.

Псалом дзета

- Я — малолетняя Магдалина.
- 78. Живу в подвалах. Добавь на виски.
Кошка, беременная, как мандолина, —
- 77. мой друг единственный.
- 76. Ее подвешивали за хвостину.
Меня распинали — и душа хрустнула.
И непаясанным осталось устное
Св. Писание от Магдалины.
- 75. На небе серписто. На сцене «Секс-пистолы»
- 74. дымились. Босые пантомимисты
- 73. от стужи к доскам примерзали, шекспирствуя.
- 72. В распахнутом весте, искусственно-лишьем,
разбей, Магдалина, яичко малиновое,
- 71. два тысячелетья в себе скостивши!

Псалом эпсилон

- 70. Он пробовал в ванной. Все зеркало в брызгах.
- 69. Соседские дети за стенкою прыскают.
- 68. «Совистенно!» — ветры свистали вотместину.
- 67. На кладбище гипса все те же статисты
- 66. топтали осколки генералиссим-
- 65. усов, вдав в постмистику. Грызлись взавистину.
- 64. Вострастину гнали абстрактную глистину.
- 63. Спешили — кто в уши — те! Иов... — Витийствовали.
- 62. А он все чихает себе независимо.
- 61. Как выжила ты в этом юморе висельном?
- 60. Но кто независимый, тот пезавистливый.
- 59. А что он читает? Похоже, не Ибсепя.
- 58. А он все чихает, чихает неистово.

- 57. Медали чеканят. Честят теннисиста.
А он все чихает, чихает поистово.
- 56. Глуха философская фаустыня.
- 55. Учусь у мистических атомистов
- 54. духовным синицам и грядкам редиса,
- 53. не диспутам — маслу для М. В. Фетисовой,
которой на пенсию не прокормиться.
«Живых воскресить бы» — сейчас моя истина.
- 52. «ЖИВЫЕ ВОСКРЕСЕ», — шепчу неуместно, —
- 51. от горя, от вируса непавстинины
ЖИВЫЕ ВОСКРЕСЕ, ВОСКРЕСЕ ВОИСТИНУ!
А вдруг приживется нижегороднее
Явлинское Христа народу?
- 49. Но поздно. В руинах социализма
- 48. с вас снимут пальто патрули альтруизма.
- 47. Моим Магдалинам пора отрудиться.
- 46. А он все чихает, цоклопник «Улисса».
- 45. Спасибо за лярное время вестибу,
забывшее рифму. Глухо.

Постный Псалом

Мы слушаем брюхом, а не ухом.

*Я слушала клавиши — слышу «колбаса»,
слушала Шостаковича — слышу рубятся бифитексы,
слушала «готовиться путч» — слышу «сосиски с капустой»,
слушала «приватизация» — слышу «заяц по-домашнему»,
слушала сессию — слышу «съесть бы кого»,
пока слушала «1000 ре» — слышу «3000»,
слушала «Мальборо» — слышу «малютку кормить не на что»,
слушала «кормить не на что» — слышу «стерлядь по-мини-
стерски»,
слушала «по-монастырски» — слышу «блин!»
«Блин!..» — твои блинчики подгорели.*

*А в животах стеклянных у жещици,
как в новых круглых пузырях-автоматах,
висят сгорбившиеся красные
телефонные трубки
на пружинках пуповин.*

*Они соединяются с тем, что было, —
и с тем, что будет.
По генетическому коду.*

Не суйте в женщин гнутые монеты.

*А доктор с прямыми ногтями
кладет на них слушающие руки.
«Что за черт там чихает без маски?
Ну, слушаю. Не надо кесарева.*

- 44. *Насчет мастита выясню».
Слушайте духом, а не ухом.*

Псалом созвездия псов

Шла Пасха, по-видимому.

- 43. Страну, как гусей, гнал мужик хворостиною
— 42. из III-го Рима на рынок. В остыпную
— 41. какую-то пору живем мы, в постылую.
*Ты глухо хворашь. Молюсь, чтобы выздоровела.
Спасти можно только любовью воистину.*
- 40. Реальность пессимистич-
на. Даль еще песси-
мистичней. Воистине
любовью воскресе.

*Последнее «опти»
зарезут без выстрела.
Но в Оптином шеноте
слышно: «Воистину...»*

- 39. В лесу живет бомж Анатолий Анисимович,
под ржавым капотом шалаш смастеривши,
— 38. кому-то медали продав на монисты,
— 37. под пвою, над пестицидной водицею
живет и. о. Иова. Страшно воистину
от тихой улыбочки вопросительной.
- Дрожат гардеробные бирки в осишиках.*
- 36. Грешно юбилеев справлять акафистицу,
когда все катится невоистину,
*Я в Суздаль уеду. Когда неспасимо,
зачем притяжешне рифмы так сильно?*

Осенний Псалом

- Люблю нашу действитель-
- 35. ность. Вечер пад Истрою
- 34. люблю. Городишки дыру неказистую
- 33. люблю. Биллиардное поле озимое,
как позднюю страсть меж мешков увозимых,
- 32. люблю. С рыбачками приятствую в диспутах.
- 31. Закинувши голову в темную высию,
я — только дистанционный зритель,
как падают рифмы путями хвостистыми.
- 30. Вошьюсь в отраженьи кометы под пирсами.
- 29. Вампирствую.

- 28. Уж осень? Ах, осень... Темнеет стремительно.
- 27. Лес пахнет анисовкой.
- 26. Лес пахнет, как страсть Пастернака семидесяти-
летнего: «Простимся...»
Неужто и это все невоистину?

- 25. Империя тонет. Открыть дыры кингстонов!
- 24. Мы — Фирсы истории, а не крысы.
- 23. Набрать воздух в инстру...
Ну, за какую, скажите мне, истину
- 22. летят Сорок дней, вопрошая нас пристально,
летят, на полслово оборваны, жизни
- 21. тюльпанами черными из Таджикиста..?

А ЧЕРТ ВСЕ ЧИХАЕТ, ХОХОЧЕТ ПАД ТРИЗНОЮ.

Но если и правда Апокалипсисна —
зачем так рифмуется пылче немьслимо?

- 20. И в мальчике с пальчиками вслед Кисину,
баховской мессой почти превративши
- 19. консерваторские зубочистки
в гусиные перья евангелистов,
с листа проиграет мою писанину
- 18. его папическое пианиссимо...

Сомнабулический

- 17. Шли в институт
- 16. ты так рифмуешься со всем Пыльи инстинк
ты так рифмуешься со всем единственно
сквозь всех подойдешь на ходу снявши клипсы
Пасхальную истину
- 15. таят твои губы по-местному «липсины»

Ты свитер
спимаешь через голову как тюльпан
делая йогу ты так же спиماешь с себя тело

С тобою рифмуясь, с ночного пиона
скользнет лепесток по стеблям заголенным,
когда ты умыться бежишь полусонно
в рубашке моей, где края закругленные.

- Вернешься, дрожа холодрыгой знобисто, —
— 14. А сад чем ознобнее, тем соловьиственнее! —
— 12. Уткнувшись в отросшую щеку ворсистую,
— 11. ответишь мне выдохом с привкусом «Випстона»:
«Воистину».

III

Замковый Псалом

- I. С окружной к Покровскому-Стрешневу
слышу шепот сквозь Времени трещину:
«Я воскресистину, я воскресистину...»
- II. Мне свои не узнать окрестности!
Сквозь твою, поэт, манускриптину
я воскресистину
- III. по крупицам, по кругу, по гривеннику,
жизнь по кругу идет, по Грипвичу...»
За углом стоит Византийщина.
- IV. И синоптики палестинские
пищут мыслящими тростинками
непонятный глагол «воскресистину».
- V. Что гадаешь нам, сербиянка?
Не скобянику едим — скорбянку.
Все бессребреники Сбербанка.
- VI. Воскрешает, кто камень кресит.
Наше кредо слетает искрами.
Мы в порядке. В порядке бреда.
- VII. В Пазарет летят аспирантки,
презрев гегелевские предо-
хранительные спирали.

- VIII. Жизнь проходит круговоротно,
повторяя венок сонетный.
Снова войны из-за Тавриды?
- IX. Заплетаю венок сомнений.
Строю арочные ворота.
Круг молитвенный сотворился.
- X. Не концовки сонетной калька,
в центре арки — замковый камень,
тот, что Ангелом отвалился.
- XI. Пусть отвергнут камень филистеры,
в камне плачущем перст оттиснутый...
«Я воскрестину слышу — воскрестину...»
Мне не надо кристальной истины.

Прощальный Псалом

- Судьба, принимаемся за инсталляцию,
простимся. Кран дышит соляркою.
И белая пенка, внизу приталированная
— 10. рукою невидимой шахматиста
— 9. с доски подымается. К новым экзистен-
— 8. циальным ходам? К измереньям таинственным?

Тобой москвичи изгалялись талантливо.
Ты рот разевала для ингаляции.
Ужель ностальгия по настоящему
являлась тоской по такой инсталляции?
Читатель, чихатель мой постоянный,
прости — на столе твоём пету салями.

- 7. К чему ты, скульптурка эпистолярная
с дырою России, от нас удаляющейся?
Удалили без болеутоляющего.
Тебе — по бульварам, а мне — по Солянке.
Ты скрылась за башенкой итальянскою,
за домом Таирова...

Постпсалом

- 6. Зачем Ты нам, Господи, инсталлировал
нерусалимскую инсталляцию?

Гора. И дыра опустевшей гробницы.

На Плащанице следы радиации.

И первая зрительница, молящаяся,
в сравнении с космосом Божьим — малявочка,

— 5. уже не блудница, еще не пустыньница,
с неповторимую интонацией —

— 4. под шорох пустыни, как шифер волнистый, —
себе повторяя:

«Воскресе? Воистину».

Зачем Ты внушил мне в Москве ее выставить

— 3. под крики: «Во инста!»?

— 2. Затем ли, чтоб души воскресли из мглы тины?

ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ

1. Я Пасху пишу на дощатом навесе

27-IV-94

Наверно, не гушны и не черкесы.

У Дома кино, в попельник, на Брестской,

с земли подымаю, сжимая до рези,

два грязных осколка... оссия ...оскресе...

За веру в любо... и ...овече... прогресси...

прости раба Божья, Андрея Вознесе...

Содержание

Безотчетное

- «С Богом...» — 7
«На стреме...» — 8
Распятия — 9
«Еще немного дай побить мне так...» — 13
Женщина и стена — 14
«Читаю небо, став душою зорче...» — 16
Безотчетное — 17
Монолог битника — 18
Озеро — 19
«Я так долго тебя не писал...» — 20
Монахия моря — 21
«Ты вышла на берег и села
со мною...» — 22
Вестница — 23
Школьник — 24
Трубадуры — 26
Кроны и корни — 27
Имена — 28
Гексаметры другу — 30
В полях безоглядных — 32
Догадка — 33
Баллада-диссертация — 34
Прятекло — 36
Голубой погубай — 37
На экспорт — 38

- Сестра — 40
«Груша заглохшая, в чаще одна...» — 42
«Ушла душа. Земле до лампочки...» — 43
«Вижу, как сол, — ты стоишь
в полукруге...» — 44
«Иду я росой предпокослой...» — 45
«Что ты ищешь, поэт, в кочевье?...» — 46
Мусатовская сирень — 47
Рок — 48
«Отпугмевшие школы. Века
и слоки...» — 49
Зомби забвенья — 50
«Мужчина с дочкой на плечах...» — 53
Золоченое разочароваше — 54
В топках — 55
«Сыграй мне полонез Огинского!..» — 56
Размолвка — 57
«Ты живешь до конца откровенно...» — 58
«Распрянулись года, как вода...» — 59
Кумир — 60
Портрет — 62
Частное кладбище — 63
Строки Роберту Жоуэллу — 64
«Почему два великих поэта...» — 68
«Ах, московская американочка...» — 69

Я обвиняюсь — 70
«Прошло много ли, мало...» — 71
«Поставь в стакал замедленную
 астру...» — 72
 Беседа в Риме — 73
 «— Вы читали
 Челентано!..» — 74
«Ты мне никогда не снишься...» — 75
 Устье — 76
 Из давнего дневника — 78
 Листы Его сада — 79
«Гора решепья. И гора страданья...» — 80
 Масличная ветвь — 81
 Вечное мясо (Поэма) — 82

Малый зал

Баллада — 93
 Воляше — 94
 Воздушные лыжи — 96
 Деревянный зал — 97
 Первый автобус — 99
 Шекспировский сопел — 101
 К Дагге — 102
 Еще о Дагге — 103
 Творчество — 104
 Пропорции — 105
 Памяти Владимира Высоцкого — 106

«Наверно, ты скоро забудешь...» — 108
 Сергею Дрофенко — 109
 Мулатка — 110
 Черная береза — 112
 «У края поля,
 в непроглядном веке...» — 113
 «Пел Твардовский в почной
 Флоренции...» — 114
 Рябина в Париже — 116
 Певсзуха — 117
 Редкие крапки — 119
 Забастовка стриптиза — 121
 Новосибирские гимназисты — 123
 Барнаульская булла — 124
 «Соп...» — 129
 «Я снова в детстве погостил...» — 130
 Песенка травести из спектакля
 «Антимиры» — 131
 Щипок — 132
 Тарковский на воротах — 133
 «Тебе на локоть села стрекоза...» — 135
 Аксиома стрекозы — 136
 «Мозгумирует. Душа-эмигрантка...» — 141
 Грузинские храмы — 142
 Копские состязания в Лыхны — 143
 Собака — 145
 Домик охоты — 146
 Летят воропы — 148
 На маяке — 149

- Сонет (Регтайм) — 150
Три стиха — 152
Перезд — 154
Кошка — 155
«Заслышу ль рифму в перелеске...» — 156
«Я вернусь, когда в город уйдешь...» — 157
«Просто — наше шоссе
и липовник...» — 158
Синий журнал — 159
«Вызывайте непаивать
на себя почаще...» — 161
1987 — 162
Андрей Полисадов (Поэма) — 164

Дубовый лист виолончельный

- Женщина перед зеркалом — 187
Выписка из книги — 188
«Чародейство, волшебство
и все русские народные заговоры» — 189
«Когда звоню из городов далеких...» — 190
Телеграмма — 191
«Прости мне, человеку, человек...» — 192
Шоссе на Глуково — 193
После сигнала — 195
Недописанная красавица — 197
- Видеопоема — 199
А. Мель — 202
Трепица — 204
Якутская Ева — 206
Лыжник — 208
«Соскучился. Как я соскучился...» — 209
Цыгане социализма — 210
Зачем тогда? — 211
Юз — 212
Мой проект памятника жертвам
репрессий — 213
«Был бы я крестным ходом...» — 214
Богоматерь-37 — 215
«Мне Ленинград — двоюродный...» — 217
Беатриче — 218
Недоумение — 219
«Зашторены закаты...» — 221
«Твои волосы — долги
на удивление...» — 222
Тебе — 223
Пол-пепец — 224
«Итал, что проходит «на ура»...» — 226
«Ах, летучая бусинка боли...» — 227
Подписка — 228
Ров (Поэма) — 231
Грех (Беседа после поэмы) — 256

Чувствую — стало быть существую

- Баллада спасения — 265
«Словно ввели в христианство тебя...» — 267
Ядерная зима — 268
«Во время взлета и перед бураном...» — 272
Витебская баллада — 273
«Я открываю красоту...» — 274
Человек породы сенбернар — 275
«Услетъ бы свой выполнить
жребий...» — 277
Шырок — 278
Берег — 279
Хула и похвала — 280
Критику — 281
«Снимите личины,
статисты речистые...» — 282
Водитель — 283
Калигула — 284
Чеколук — 286
Три скрипки — 287
«Не понимать стихи — не грех...» — 288

Оглянись вперед

- Посвящение — 291
Выставка «Москва — Париж» — 292
Щенок по имени Август — 293
Зеленая баллада — 295
Старый особняк — 296
Женское пламя — 297
Ты чудо воя — даже пустяк такой! — 299
Окно — 300
Оглянись вперед — 301
Афиногеновские клены — 302
Вербя — 304
«За тобою прожженные годн...» — 305
«В пору, когда зацветает акация...» — 306
Бой! (Поэма) — 307
Лопжомо (Поэма) — 313
Чернос знамя — 322

Не отрекусь

- «Не отрекусь...» — 327
«Бегиго — в себя, па Гаити,
в костелы...» — 328
Рыбак Боков варит суп — 330

- Речь при получении докторской
мантин в Оберлипе — 332
- «Господь, помилуй мою душу!..» — 334
- «Я, к Петасу вода...» — 335
- Пляж — 336
- Останки баши — 337
- «В мире друзей, в мире транспорта
долгого...» — 342
- Шутливые строки — 343
- Ода спленникам — 344
- «О Грузия! Ты — папороток...» — 346
- Открытка — 347
- «Я обожато воздух сосновый!..» — 348
- Полнос — 349
- Гайана — 350.
- Речь — 351
- «Когда ты забиралась наверх
под кепку волосы...» — 353
- Резиговыс — 354
- Два дворца в Лицани — 355
- «Эта слава и цветы...» — 356
- «Как хорошо найти...» — 357
- «Когда всегда передо мной...» — 358
- «Ты с теткой живешь.
Она учит кашаццы...» — 359
- «Нас посещает в срок...» — 360
- «Живите не в прострапстве,
а во времени...» — 361
- Строки — 362
- «Божественно после парилки...» — 363
- Проводница — 364
- Новоселье — 365
- Квартира — 366
- Идиллия — 368
- «В большом саду воскресник...» — 369
- В роддоме — 370
- Индийская корова — 371
- «Страшен мир безалкогольный!..» — 372
- Русская интеллигенция — 373
- «В свос последнее рождение...» — 374
- «Смеюсь, когда Вы в угаре...» — 375
- Распадения распада — 376
- «Когда народ-первоисточник...» — 383
- Елка — 384
- «Когда я когда-нибудь сдохну...» — 385
- Музе — 386
- Мать,-тьма — 387
- Россия воскресе (Поэма) — 388

Андрей Андреевич Вознесенский

НАС ТРОЕ — БОГ, ТЫ И Я

Собрание сочинений в пяти томах. Том третий

Редактор Е.В. Толкачева
Художественный редактор Т.Н. Костерина
Технолог С.С. Басилова
Оператор компьютерной верстки И.В. Соколова
Компьютерная верстка обложки
и блока иллюстраций В.М. Драновский
П. корректоры В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.

**Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2:953 000 — книги, брошюры.**

Подписано в печать 17.04.2001. Формат 60 × 84/16.

Гарнитура New StandardС. Печать офсетная. Объем 26 печ. л.

Тираж 5000 экз. Изд. № 1571. Заказ № 865.

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

E-mail — vagrius@vagrius.com

Информация об издательстве в сети Интернет:

<http://www.vagrius.com>; <http://www.vagrius.ru>

**Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской
Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском
предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.**

113054, Москва, Валовая, 28.

Оптовая торговля:

Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36,6»

Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90

E-mail: club366@aha.ru

107078, г.Москва, а/я 245 «Клуб 36'6»

КОРФ «У Сытша»:

Тел.: (095) 156-86-70. Факс: (095) 154-30-40

Интернет: <http://www.kvest.com>

Электронная почта: shop@kvest.com

Интернет-магазин: <http://www.24x7.ru>

По вопросам оптовой покупки книг издательства АСТ обращаться по тел.:

215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

ISBN 5-264-00550-8



9 785264 005503 >



БАТРИНС